

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

№ 2

2007

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

- Карнишин В. Ю.* Реформы П. А. Столыпина:
перекрестки мнений современных историков.....3
- Репников А. В.* «Мы все уничтожены, мы фактически разгромлены...»
(русские монархисты накануне и после падения самодержавия)..... 10
- Шелохаев С. В.* Дмитрий Николаевич Шипов (1851–1920).....20
- Володина Н. А.* Становление и структура
советской системы политического контроля35
- Михайлов И. В.* От революции к гражданской войне:
парадоксы прошлого и современного восприятия.....44

ФИЛОСОФИЯ

- Кошарный В. П.* Русская религиозная метафизика революции
(к 90-летию революционных событий в России).....51
- Пугачев О. С.* Теономная этика
как актуальный этап поиска смысла жизни..... 64
- Тугаров А. Б.* Философские основания социальных исследований77
- Аредаков А. А.* Концепт сознания в онтологическом
каркасе антропного принципа 86

ФИЛОЛОГИЯ

- Родионова О. С.* Интонация – самостоятельный уровень
языковой структуры93
- Хижняк С. П.* Семантические свойства юридического термина 104

<i>Нечаева Е. Ф.</i> Сопоставительный анализ отражения «Я-концепта» в дихотомии «обладание – бытие» (на материале французского, английского и русского языков)	113
<i>Жаткин Д. Н.</i> Ф. Шиллер и А. А. Дельвиг	122
<i>Джанполат-Васина Н. Н.</i> Отражение картины мира средневекового человека в произведениях немецкой рыцарской литературы (на примере песен миннезанга)	131

РЕЦЕНЗИИ

<i>Карнишин В. Ю.</i>	136
Аннотации	139
Сведения об авторах	143

ИСТОРИЯ

УДК 940.3(47+57)+930.1

В. Ю. Карнишин

РЕФОРМЫ П. А. СТОЛЫПИНА: ПЕРЕКРЕСТКИ МНЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКОВ

В статье рассмотрены современные интерпретации преобразований, связанных с именем Председателя Совета министров П. А. Столыпина. Отмечены особенности подходов авторов к изучению программы реформ, путей ее реализации и итогам реализации внутривосточного курса позднеимперской России.

Особенности современного этапа развития России вновь стимулируют осмысление ряда этапов исторического развития страны. Достаточно симптоматична дискуссия, инициированная правительственной «Российской газетой» в связи с изданием эссе А. И. Солженицына «Размышления под Февральской революцией», вызывает, однако, сожаление, что обмен мнениями состоялся на страницах лишь нескольких общенациональных изданий [1–5].

Несколько меньше внимания в прессе уделено дате, связанной с именем выдающегося российского политика, предложившего реформистскую альтернативу развития позднеимперской России. 145-летию со дня рождения П. А. Столыпина была посвящена Всероссийская научная конференция, инициированная Правительством Пензенской области, Министерством культуры и областным краеведческим музеем. Оживленная дискуссия представителей различных поколений российских историков в очередной раз подтвердила неоднозначность мнений о роли П. А. Столыпина в политическом процессе, вместившем революционные катаклизмы и реформаторскую альтернативу. В основе предложенных заметок – попытка составить представление о современных интерпретациях политики реформ П. А. Столыпина.

В новейшей историографии следует выделить две волны интереса к личности реформатора. Одна из них связана с пробуждением внимания к так называемым «темным пятнам истории». Посмертная публикация работы А. Я. Авреха [6], биографических книг П. Н. Зырянова [7], И. В. Островского [8], В. В. Казарезова [9], многочисленных статей, среди которых, прежде всего, выделим работы В. С. Дякина [10], А. П. Корелина и К. Ф. Шацилло [11], П. С. Кабытова [12], стала отражением общественного и научного интереса к личности В. А. Столыпина и дилемме «реформа или революция». Особо отмечу серию альманахов, изданных Саратовским культурным центром имени П. А. Столыпина [13–15]. Нельзя игнорировать эмоциональную окраску как публицистических изданий [16], так и ряда научных статей [17], для которых свойственны категоричность суждений и идеологическая предопределенность.

Интерес к судьбе реформаторской альтернативы начала XX в. был вполне закономерен для читающей России, находившейся в поисках новой модели общественного развития на фоне крушения СССР и болезненного, мучительного перехода к рыночной экономике.

Определенная стабилизация на новом историческом этапе новейшей истории вновь обусловила постановку проблемы формирования общенациональной идеологии. Интеллектуальный поиск продолжается в различных направлениях. Один из его векторов – деятельность Фонда изучения наследия П. А. Столыпина (Президент – статс-секретарь – заместитель министра культуры и массовых коммуникаций П. А. Пожигайло; Председатель Ученого совета, академик РАН, Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники В. В. Шелохаев; Ученый секретарь – кандидат исторических наук К. И. Могилевский). Масштабная издательская деятельность, отраженная в публикациях массива документов, посвященных различным аспектам государственной деятельности П. А. Столыпина, обстоятельствам его жизненного пути, а также законотворчеству Государственной думы [18–25], позволила в концентрированном виде представить источниковый потенциал, значимость которого для осмысления реформаторской альтернативы России действительно бесспорна.

Цикл статей В. В. Шелохаева, опубликованный в последние годы, фокусирует внимание на базовых ценностях столыпинской программы модернизации, взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти [26, с. 7–32; 27, с. 4–7]. Выводы В. В. Шелохаева основаны на системном изучении всего комплекса документов, связанных с именем реформатора. Речь идет о том, что консервативно-либеральный тип модернизации, по мнению автора, представлял оптимальный вариант преобразований, проводя своеобразную линию между правоконсервативной моделью переустройства страны и леворадикальными вариантами, способными стимулировать национальную катастрофу. В. В. Шелохаев принципиален в оценке эмоциональных и политизированных обвинений современных публицистов, для которых характерно навешивание ярлыков на личность П. А. Столыпина («отец русской революции», «первый русский фашист»). Весьма уместно замечание о некорректности претензий, выдвигаемых главе правительства, в связи с ошибками политических деятелей после 1911 г. [26, с. 30–31].

Вместе с тем автор весьма объективно проанализировал социально-политическую среду реформирования, трудности, просчеты в реализации внутренней политики. Речь шла об асинхронности в ходе разработки законопроектов, финансировании мероприятий в социальной сфере по остаточному принципу, недостаточном учете остроты противоречий между политическими элитами, специфике взаимоотношений с фракциями политических партий, представленных в Государственной думе. Наконец, П. А. Столыпин как политик не в должной мере учитывал необходимость вовлечения в процесс преобразований широких общественных кругов, что, в частности, требовало особой роли печати [28]. Резюмируя, В. В. Шелохаев выделяет базовые компоненты национальной идеологии: законность и правовой порядок, раскрепощение личности, единое и неделимое государство, сильная исполнительная власть, частная собственность и свободный труд, патриотизм и внешнеполитический авторитет великой державы [29].

Британский историк-аграрник Т. Шанин исходит из того, что теоретическое и концептуальное содержание проектов П. А. Столыпина не было воплощено в «связную теорию», поскольку «теоретические умы России были заняты другими проблемами» [30]. Впрочем, вынося данный вердикт, автор признает логичность программы П. А. Столыпина по выходу страны из сис-

темного кризиса, что еще не гарантирует достижения политических результатов. Т. Шанин делает вывод о том, что успех преобразований «нельзя исключать по чисто теоретическим соображениям», однако роковое значение, по его мнению, для «команды П. А. Столыпина» имели кадровый «голод», недоверие к правительству либеральной интеллигенции и жесткая позиция консерваторов-монархистов.

Категоричность суждений Т. Шахова, называющего аграрную реформу «революцией сверху», не пользовавшейся поддержкой ни одного крупного общественного класса, ни одной партией [31], не разделяется А. Н. Медушевским. Его вывод основан на признании правильности стратегии реформы. Что касается сопротивления ей традиционалистских слоев, то оно было неизбежно, а трудности реализации определялись сжатостью исторического отрезка времени. Главное же, по мнению А. Н. Медушевского, состоит в том, что «вектор современных реформ в точности соответствует представлениям П. А. Столыпина» [32, с. 289].

Автор впервые в российской историографии системно на весьма широком материале рассмотрел проблемы преодоления правового дуализма и переходных форм собственности. Справедливо обращая внимание на неопределенность этимологии понятий «общинная», «общая», «общественная» собственность, он заключает, что подобная ситуация была весьма искусно использована левыми партиями, исходившими из идеологической презумпции о преимуществах общественной собственности над частной [32, с. 291]. В конечном итоге, проблемы правового обеспечения аграрной реформы приобретали особое значение в конкретно-исторических условиях начала XX в.

Речь идет о незавершенности процесса формирования новых общественных отношений, основанных на симбиозе западных законодательных институтов и российских правовых традиций, на что обращено внимание Н. А. Федоровой [33, с. 19]. Ею весьма аргументированно показаны подлинные намерения П. А. Столыпина в отношении крестьянской общины, которую глава правительства стремился превратить в исключительно хозяйственный союз лиц с ликвидацией явно обременявших ее фискальных функций и утверждением общей собственности, что, в свою очередь, позволяло сохранить стройность правовой конструкции коллективной собственности [33, с. 17–18].

Переводная и провокативно озаглавленная монография американского профессора Я. Коцониса посвящена исследованию взаимодействия между способами мышления о крестьянстве и практикой реформ в аграрной сфере в 1861–1914 гг. В отдельной главе рассмотрен сюжет о дискуссиях о собственности в период реформ П. А. Столыпина.

Автором отмечены особенности дискуссии о политическом и социальном значении понятия «собственность». Главным аргументом представителей элиты и правительственных кругов, демонстрировавших свою сословную ментальность, являлось стойкое убеждение в том, что «крестьяне недостаточно зрелы для того, чтобы им можно было доверить их собственную землю и вообще средства к существованию», поскольку они «нуждаются в неусыпном надзоре государственных учреждений и некрестьянской по своему составу администрации» [34, с. 121].

Анализируя содержание кредитной политики, Я. Коцонис приходит к выводу о том, что ссуды, выданные под залог наделных земель (около

11 млн руб.), в основном были предназначены для крестьян-переселенцев, что исключало возможность эффективной поддержки хозяйств в Европейской России. В конечном итоге, в представлении П. А. Столыпина кооперативы, наряду с обновленным землепользованием, являлись прообразом новой интегрированной системы, которая должна быть безусловной по своей природе [34, с. 141, 142].

Д. Мейси, размышляя о судьбе аграрной реформы, акцентирует внимание на роли прямой и обратной связи между правительством и крестьянством. В этой связи им обращено внимание на два процесса: децентрализацию власти в рамках учреждений, проводивших реформу (проведение совещаний на уровне регионов и губерний, учреждение местных органов Крестьянского Поземельного банка); начало перехода от традиционных и патерналистских форм вмешательства администрации к наблюдательной роли [35, с. 266].

В современной литературе продолжается дискуссия об эффективности аграрной реформы. Д. Мейси настаивает на том, что программа П. А. Столыпина не только не потерпела поражения, но и нашла положительный отклик среди широких масс крестьянства [35, с. 271]. Данный вывод автор основывает на анализе обширного статистического материала.

В полемичной статье покойного В. В. Кабакова справедливо обращено внимание на то, что давать оценку аграрной реформе следует с учетом того обстоятельства, что «судить о событиях 1906–1917 гг. необходимо как о незавершенном процессе, прерванном войной». Автор констатирует, что после октября 1917 г. продолжились крестьянские переселения и выход на хутора и отруба. В. В. Кабанов подчеркивает, что реформа П. А. Столыпина не могла дать моментальный эффект, а сама эффективность может быть рассмотрена в разумном и комплексном проведении преобразований в сочетании с решением проблемы собственности и форм хозяйственного освоения земли [36].

Традиционная оценка реформ П. А. Столыпина представлена в новейшей статье А. П. Корелина [37]. Автор указывает на дискуссионные аспекты в осмыслении ресурсов самодержавия и их эффективности рубежа XIX–XX вв. По его мнению, «катастрофическое запаздывание» с реформами сыграло роковую роль в отечественной истории. С этой точкой зрения нельзя не согласиться. Тем не менее, проблема эффективности государственного управления позднеимперской России и ее политических рисков, на наш взгляд, не исчерпана и может быть полем для новых научных дискуссий¹.

Историографический экскурс был бы неполон без обращения внимания к биографическим изданиям, посвященным личности П. А. Столыпина. Книга С. Ю. Рыбаса, изданная в серии «Жизнь замечательных людей», представляет собой, строго говоря, не историческое исследование, а документально-исторический роман с особенностями этого жанра и достаточно яркой эмоциональностью (достаточно отметить прогноз автора, утверждающего, что «если бы Столыпин довел свое дело до конца, не было бы ни Сталина, ни Ленина. Возможно, не было бы ни Первой, ни Второй мировой войны» [38]).

Обстоятельствам гибели П. А. Столыпина посвящено второе издание книги С. А. Степанова. Документальное исследование выполнено на основе

¹ Интерпретации событий Февраля 1917 г. в контексте реалий развития России в начале XX в. представлены циклом статей и фрагментами мемуаров в журнале «Свободная мысль» (2007, № 2).

изучения значительного количества источников с привлечением публицистических работ и монографий. Автор рассматривает жизненный путь П. А. Столыпина на фоне событий политической истории. Изучая версии убийства главы правительства, С. А. Степанов обращается к выяснению феномена политической полиции, задается вопросами о подлинной роли убийцы – Д. Богрова, существования заговора крайне правых, значения политической провокации в практике Департамента полиции. Автор приходит к выводу о том, что убийца П. А. Столыпина смог обмануть охрану, возглавлявшуюся лицами, сделавшими карьеру благодаря придворным связям и протекции. Таким образом, политик-реформатор стал жертвой «заговора посредственности и некомпетентности, обессиливших монархию» [39].

Замысел книги А. П. Бородина заключается в том, чтобы взглянуть на П. А. Столыпина глазами современников, что позволяет преодолеть искажения в восприятии облика государственного деятеля несколькими поколениями наших соотечественников. Автор по-новому расставляет оценки карьеры П. А. Столыпина, обращая внимание на некоторую категоричность вывода о близком уходе его с поста главы правительства весной 1911 г., т.к. «вопрос о направлении правительственного курса окончательно решен не был» [40, с. 218]. Не столь однозначными, по мнению А. П. Бородина, являются и оценки национальной политики (приведение местного законодательства в соответствие с общеимперскими), отношения к дворянскому землевладению (стремление добиться добровольной продажи частью помещиков своих имений) [40, с. 122–123, 184].

Новейшая монография П. С. Кабытова отличается тем, что впервые рассмотрены особенности личности П. А. Столыпина с учетом факторов повседневной жизни, взаимоотношений с семьей и сослуживцами. На основе мобилизованного материала региональных архивов предпринята весьма удачная попытка изучения стиля деятельности саратовского губернатора, а также практики хозяйствования [41].

Сохраняющиеся различия в оценках реформ и личности П. А. Столыпина отражают особенности современной историографической ситуации. Различна трактовка проблемы степени эффективности государственного аппарата позднеимперской России, специфики взаимоотношений внутри политической элиты. Отмечу, что отказ от мифов и стереотипов предыдущих десятилетий происходит на фоне появления новых наслоений в массовом сознании, чему способствуют некоторые средства массовой информации. Нельзя не упомянуть о сериале «Столыпин: невыученные уроки»¹, который пока что не нашел отклика у профессиональных историков. Представляется, что обилие «гламурных» сериалов на исторические темы не может быть вне внимания ученых, часто лишь сетующих на упрощенность подходов и несуразность воплощения на экране исторических персонажей². Впрочем, этот сюжет – тема специального изучения.

¹ Столыпин: невыученные уроки. Россия, 2006. Режиссер: Ю. Кузин; автор сценария Э. Володарский.

² Нам удалось выявить только одну статью киноведа С. Цыркуна, весьма обстоятельно проанализировавшего сценарий Э. Володарского и работу режиссера Ю. Кузина (Цыркун С. Столыпин без «галстука» // www.kinoart.ru/magazine/08-2006/media/stsyrkun_0608/).

Список литературы

1. **Солженицын, А. И.** Размышления над Февральской революцией / А. И. Солженицын // Российская газета. – 2007. – 27 февраля.
2. **Смирнов, А. Ф.** За Февралем идет Октябрь / А. Ф. Смирнов // Российская газета. – 2007. – 10 марта.
3. **Рыбас, С.** Недетский мускул. Февральскую революцию инициировала элита / С. Рыбас // Российская газета. – 2007. – 3 марта.
4. Хаос с невидимым стержнем. Историки обсуждают статью Александра Солженицына «Размышления над Февральской революцией» // Российская газета. – 2007. – 1 марта.
5. **Уткин, А. И.** Уроки Февраля / А. И. Уткин // Российская газета. – 2007. – 14 марта ; 2007. – 23–29 мая.
6. **Аврех, А. Я.** П. А. Столыпин и судьбы реформ в России / А. Я. Аврех. – М., 1991.
7. **Зырянов, П. Н.** Петр Столыпин. Политический портрет / П. Н. Зырянов. – М., 1992.
8. **Островский, И. В.** П. А. Столыпин и его время / И. В. Островский. – Новосибирск, 1992.
9. **Казарезов, В. В.** П. А. Столыпин: история и современность / В. В. Казарезов. – Новосибирск, 1991.
10. **Дякин, В. С.** Был ли шанс у Столыпина? / В. С. Дякин // Звезда. – 1990. – № 12.
11. **Корелин, А. П.** П. А. Столыпин: попытка модернизации сельского хозяйства / А. П. Корелин, К. Ф. Шаццлло // Деревня в начале века: революция и реформы. – М., 1995. – С. 7–55.
12. **Кабытов, П. С.** П. А. Столыпин и самарское крестьянство / П. С. Кабытов // Черный перелом. – Самара, 1992.
13. Правда Столыпина: Альманах I / сост. Г. П. Сидоровнин. – Саратов, 1999.
14. Правда Столыпина: Альманах II / сост. Г. П. Сидоровнин. – Саратов, 2002.
15. Столыпин. Жизнь и смерть [1862–1911] : сборник / сост. Г. П. Сидоровнин. – Саратов, 1997.
16. **Кара-Мурза, С. Г.** Столыпин – отец русской революции / С. Г. Кара-Мурза. – М., 2002.
17. **Анфимов, А. М.** Тень Столыпина над Россией / А. М. Анфимов // История СССР. – 1991. – № 4.
18. П. А. Столыпин. Программа реформ : Документы и материалы : в 2-х т. – М., 2002.
19. Тайна убийства Столыпина. – М., 2003.
20. П. А. Столыпин. Переписка. – М., 2004.
21. **Пожигайло, П. А.** Петр Аркадьевич Столыпин: Интеллект и воля / П. А. Пожигайло, В. В. Шелохаев. – М., 2005.
22. Законотворчество думских фракций. 1906–1917 гг. : Документы и материалы. – М., 2006.
23. **Столыпин П. А.** Мысли о России. – М., 2006.
24. П. А. Столыпин. Грани таланта политика. – М., 2006.
25. П. А. Столыпин. Биохроника. – М., 2006.
26. **Шелохаев, В. В.** Столыпинский тип модернизации России / В. В. Шелохаев // Историк и время : сборник научных статей. – Пенза, 2004.
27. **Шелохаев, В. В.** Столыпин и государственная дума / В. В. Шелохаев // Государство и общество. Проблемы социально-политической и экономической истории России. – Вып. 2. – Пенза, 2004.
28. **Шелохаев, В. В.** Опыт и уроки П. А. Столыпина / В. В. Шелохаев // П. А. Столыпин: Программа реформ : Документы и материалы. Т. 1. – С. 19–20.
29. **Шелохаев, В. В.** Столыпинская программа модернизации / В. В. Шелохаев // Родина. – 2006. – № 12. – С. 9.

30. **Шанин Т.** Уроки истории и следующая революция: границы политического воображения // www.strana-oz.ru/?numid=58&article=268.
31. **Шанин Т.** Революция как момент истины / Шанин Т. – М., 1997. – С. 313, 386–387.
32. **Медушевский, А. Н.** Проекты аграрных реформ в России: XVIII – начало XXI века / А. Н. Медушевский. – М., 2005.
33. **Федорова, Н. А.** Неотъемлемое свойство. Проблема собственности в столыпинской аграрной реформе / Н. А. Федорова // Родина. – 2007. – № 2.
34. **Коцонис, Я.** Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914 / Я. Коцонис. – М., 2006.
35. **Мейси, Д.** Аграрные реформы Столыпина как процесс: центр, периферия, крестьяне и децентрализация / Д. Мейси // Россия сельская. XIX – начало XX века / отв. ред. А. П. Корелин. – М., 2004.
36. **Кабанов, В. В.** А был ли прах столыпинской аграрной реформы / В. В. Кабанов // Россия сельская. – М., 2002. – С. 309, 328.
37. **Корелин, А. П.** Столыпинские реформы: исторический опыт и уроки / А. П. Корелин // Отечественная история. – 2007. – № 3. – С. 158–172.
38. **Рыбас, С. Ю.** Столыпин / С. Ю. Рыбас. – М., 2003. – С. 254.
39. **Степанов, С. А.** Столыпин – история убийства. Жизнь и смерть ради России / С. А. Степанов. – М., 2006. – С. 285.
40. **Бородин, А. П.** Столыпин. Реформы во имя России / А. П. Бородин. – М., 2004. – С. 218.
41. **Кабытов, П. С.** П. А. Столыпин: последний реформатор Российской империи / П. С. Кабытов. – Самара, 2006. – С. 68–94, 134–155.

**«МЫ ВСЕ УНИЧТОЖЕНЫ, МЫ ФАКТИЧЕСКИ
РАЗГРОМЛЕНЫ...» (РУССКИЕ МОНАРХИСТЫ
НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ)**

В статье рассматриваются взгляды и судьбы русских монархистов: М. О. Меньшикова, Ю. С. Карцова, Б. В. Никольского, Н. Н. Тихановича-Савицкого, Н. Е. Маркова, А. С. Вязигина и других накануне и после свержения самодержавия. Особое внимание уделено малоизвестным фактам из жизни А. И. Дубровина и Л. А. Тихомирова. Показывается отношение правых идеологов к политике Николая II и перспективам консервативной идеологии в России.

Задолго до Февральской революции в среде консерваторов можно было наблюдать рост пессимистических настроений в отношении перспектив существующего строя. Разочарование в возможностях власти сохранить и усовершенствовать существующую систему стало общим местом в рассуждениях значительного числа консервативных теоретиков и практиков начала века. С. Ф. Шарапов, К. Н. Пасхалов, Л. А. Тихомиров, Б. В. Никольский, М. О. Меньшиков и многие другие неоднократно писали об этом.

В 1906 г. дипломат и публицист Ю. С. Карцов сомневался, «справится ли монархия с теми задачами, социальными и политическими, которые выдвинула смута? Достанет ли у нее энергии возродиться и... в светлом одеянии появиться перед народом? Если же и эта последняя надежда исчезнет, – отрицательные силы возьмут верх над положительными, – распадется Россия и сделается добычей соседей» [1]. 24 сентября 1907 г. Тихомиров записывал в дневнике: «Страшное и беспримерное царствование: *никогда* и, вероятно, *нигде* за столь краткое время не было разрушено *все*: власть, вера, совесть, честь, достоинство, даже простое самолюбие. Я бы не поверил прежде, что в состоянии буду пережить падение и поругание всей святыни, всего дорогого, чем жил. И что же? Помучился, помучился и *пережил*... И живу – страшно сказать – *ни на что не надеясь, зная*, что погибла родина, погиб мой народ, моя церковь, мои политические идеалы... И *живу!* Странно самому» [2]. 21 января 1908 г. следует запись: «Россия медленно, но неуклонно выходит на банальный общегражданский конституционный путь. *Царство русское* кончено при Николае II. А с концом *царства русского* кончается и союзно церковно-государственный строй. Все это, по-видимому, уже *непреложно*, бесповоротно. Воскресить русскую идею теперь еще мог бы, может быть, *гениальный царь*, а через десяток лет уже и никакой гений не воскресит» [3].

Летом 1909 г. Меньшиков заканчивал статью «Хозяева и работники» печальным прогнозом: «Социализм, вероятно, придется испытать, как многое дурное, чтобы убедиться, до чего он не отвечает природе общества. Социализм следует рассматривать не как восстание труда против капитала, а как бунт трудовой посредственности против трудового таланта» [4].

Рано или поздно даже у самых убежденных защитников монархии, по сути, положивших на борьбу всю жизнь, опускались руки, и причину кризиса многие из них видели в правительстве и лично в Николае II. Летом 1912 г. следует запись в дневнике Никольского: «Боже, Боже мой, какой ужас жить в царствование Николая II и знать, сколько я знаю, и понимать безнадежность

будущего еще лет на 12–15!» [5, с. 355]. В том же году В. Строганов прогнозировал: «Приглядитесь кругом, что у нас делается, каких людей назначают на ответственные посты, какой произвол и самоуправство царят всюду, точно в нас вселились бесы, которые толкают Россию не к лучезарному будущему, а к полной гибели! Какая “охрана” нас может спасти при таких условиях от новой революции!» [6].

Не последнюю роль в падении авторитета самодержца в консервативно настроенных кругах сыграла Первая мировая война. Н. Н. Тиханович-Савицкий 5 мая 1916 г. писал Н. Н. Родзевичу: «Если бы при теперешнем трепете наверху нам удалось добиться лишь предложенных мною небольших изменений, то и тогда мы могли бы умереть спокойно, зная, что высвободили Россию из конституционной петли и поставили ее на путь самобытного развития. «Но не поздно ли?» – как спрашивает меня Н. Д. Облеухов (вполне наш), близко стоящий к Пуришкевичу. Пасхалов потерял веру в восстановление самодержавия окончательно, сказать правду, и я в глубине души колеблюсь, а вы знаете, какой я упорный. Л. А. Тихомиров – совсем отошел обескураженный» [7].

Стремительная потеря властью своего авторитета вызвала у многих консерваторов желание объяснить произошедшее действием «темных сил». В числе основных «виновников» фигурировали: думская оппозиция, представители либерального движения, социалисты, евреи, масоны, Г. Е. Распутин и т.д. Симптоматично, что даже те, кто считал себя убежденными монархистами, не видели ничего зазорного в фиксировании самых грязных слухов, связанных с темой «распутинщины». А. А. Бобринский в 1911 г. «заносил в дневник сплетни по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации императрицы» [5, с. 352–353], Никольский в 1912 г. отмечал в дневнике «эротоманство» Александры Федоровны [5, с. 351]. Тихомиров в 1915 г. описывал сексуальные подробности скандала, связанного с распутинским ставленником Варнавой: «Кредит Государю подрывается страшно. А Он – поддерживая этих Распутиных и Варнав – отталкивает от себя даже и дворянство, и духовенство... Что такое Варнава?... Он друг и единомышленник Григория Распутина, и им выведен в люди. О нем рассказывают, с нравственной стороны, вещи похуже Распутинских. Говорят, что он педераст. Востоков рассказывал, со слов каких-то коломенских жителей, что у него в монастыре (в Коломне) был мальчик – служка, который служил его страсти, а потом таинственно погиб, именно был найден в мельничном омуте. Молва считала это *убийством*. Об этом производилось судебное следствие, которое будто бы бросало подозрение на Варнаву (тогда настоятеля монастыря), но было прекращено по приказанию свыше. Что здесь правда – не знаю. Но в той же Коломне есть восторженные почитатели Варнавы. Родом он – огородник в Каргополе, и, по рассказам, был тогда еще известным развратником. Потом пошел в монахи, и с помощью Распутина – достиг высшего положения. Пользуется, как говорят, благоволением Императрицы. Кологривов не рассказывает подробности, но хорошо знает григорианско-дворцовые отношения. У него какая-то племянница – фрейлина и «распутинка», друг Вырубовой. Кологривов, не говоря ничего фактического, только вздыхает, что там идет тяжкая драма, и порицает тех, которые не жалеют растревлять раны Государя. Это, конечно, и мне самому страшно жалко Государя. Но жалко и Россию, и Церковь, которые страдают от этой драмы. Да страшно мне и *будущее* за самого же Государя.

Никто не подготовляет Царствующей династии таких бедствий, как этот трижды проклятый Распутин» [8].

В дневниках Тихомирова 1915–1917 гг. целые страницы посвящены Распутину и связанным с ним слухам: «Рассказами о Гришке полна Россия. Так еще недавно слышал уверения, что Хвостов назначен в министры Гришкой. Нет сомнения, что все такие слухи раздуваются врагами Самодержавия, – но это не изменяет результатов. Как прежде – очень давно, в начале Царствования, общий голос был – что Царица держится в стороне от государственных дел, так теперь все и всюду говорят, что она беспрерывно и всюду мешается и проводит будто бы именно то, чего хочет Григорий Распутин. Этот злой гений Царской Фамилии сам постоянно направо и налево рассказывает о своем влиянии. Это такая язва, такая погибель, что и выразить невозможно...» (2 января 1916 г.) [9].

Характерно, что Тихомиров верил в существование «темных сил». 9 декабря 1916 г. он записывает: «Да, революция назревает и надвигается. Теперь ее проводят в жизнь высшие классы и чины, а потом – поведут уже на свой лад рабочие и крестьяне. Кто тут останется в живых, один Господь ведает. Но можно весьма думать, что сама виновница зла, «темная сила», в лице Гришки Распутина, благополучно удерет в критический момент куда-нибудь за границу» [10]. Тяжелое настроение создавало и чтение Тихомировым, работавшим в этот период над своей новой книгой, произведений конспирологического характера: «Я думаю, что тут вступилось в дело *масонство*. Вильгельм – масон. А каковы силы масонства у нас, в России? Кто это ведает? По мнению аббата Турмантена – масоны приобрели в России огромную силу» [11]; «Я теперь читаю... о влиянии франкмасонов на политику XIX века. Правду сказать, страшно делается. Очень похоже, что и мы в их руках. Как изумительно, что никто в России не читает этих книг, не подозревает о[б] их существовании» [12]. Итог неутешителен: «Мне кажется все более вероятным, что Россия уже стала игрушкой масонства, ведущего штурм против последнего оплота христианства» [13].

Правые, за редким исключением, отнюдь не мечтали после Февральской революции о возвращении свергнутому императору престола, не стремились организовать освобождение царской семьи, а пытались приспособиться к новым условиям. 4 марта 1917 г. бывший председатель Русского монархического союза С. А. Кельцев направил представителям московских городских властей телеграмму «о полной поддержке революционных событий». В ней, в частности, было написано: «Да благословит Господь новое правительство, да поможет излечить ему внутреннюю разруху государства, созданную прежним правительством, единодушно осужденным в преддверии настоящих великих народных дней в заключительных февральских беседах Русского монархического союза, силою вещей прозревшего вместе со всей страной... и ныне обратившему остаток своего состава для честного и не за страх, а за совесть [служения] благу родины и новому правительству, разрушившему темные силы и темноту России. Ура главам правительства... Постараюсь служить посылно новому правительству, с усердием, безвозмездно испытанным в былые годы московским земством... Искренно преданный статский советник Сергей Кельцев, бывший председатель правления упраздненного Монархического союза» [14].

Не менее определенную антимонархическую позицию заняли в этот период Синод и подавляющее число представителей высшей церковной иерархии [15, с. 27–33]. Современный историк верно отмечает, что «отказ церкви от “стояния за Царя” во многом предопределил фактический сход с российской политической сцены монархического движения. У монархистов ментально ушла из-под ног идеологическая почва» [15, с. 32].

При чтении статей и дневника Меньшикова, написанных после крушения самодержавия заметно их сходство с дневниками Тихомирова. В статье «Жалеть ли прошлого?» он писал: «Для русского цезаризма война эта в неожиданном ее развитии все равно обещала гибель. Может быть, это и служило одною из главных причин, парализовавших нашу подготовку к войне и энергию ее ведения... Спрашивается, стоит ли нам жалеть прошлое, если смертный приговор ему был подписан уже в самом замысле трагедии, которую переживает мир?.. Не мог же несчастный народ русский простить старой государственной сухомлиновщине того позора, к которому мы были подведены параличом власти... Жалеть ли нам прошлого, столь опозоренного, ослабленного, психически-гнилого, заражавшего свежую жизнь народную... Весь свет поражен внезапностью русского переворота и взволнован радостью, взволнована радостью и вся Россия... Старый порядок рухнул от неуважения к свободе, то неуважение подрывает и всякий порядок, который наследует эту язву» [16].

Весной 1917 г., когда Петроградский Совет попытался закрыть «Новое время», Меньшиков был отстранен от работы в газете. В последней статье, которая появилась в газете 19 марта, подводились итоги: «Я далек, конечно, от мысли считать всех наших самодержцев чудовищами порока или безумия. Такие бывали, но гораздо хуже, что подавляющее большинство из монархов были слишком невыдающиеся, слишком заурядные люди. И вот в руки этих-то слабых и НЕУМНЫХ людей, очутившихся в вихре лести и измены, попала историческая судьба великого народа... сосредоточив на себе народное могущество, монархи решительно не знали, что с ним делать... Отделялись крохотными, легонькими задачками и систематически задерживали великую, наиболее необходимую перестройку своих народов. Важнейшие реформы начинались и никогда не оканчивались или оказывались безобразно смятыми... Трагедия монархии состояла в том, что, отобрав у народа его волю, его душу, – монархия сама не могла обнаружить ни воли, ни души, скольконибудь соответствующей огромной и стихийной жизни. Энергия народная веками глохла в... центре своей власти... Великий народ обречен был на медленное вырождение, подобно азиатским соседям, от атрофии своих высших духовных сил – сознания и воли» [17].

В дневнике Меньшиков неоднократно обращался к анализу правления последнего императора. Итоги анализа были безжалостны: «Боже, до чего прав я был, чувствуя задолго до войны глубокое возмущенное и презрительное чувство к Николаю II! Он погубил Россию, как губит огромный корабль невежественный или пьяный капитан, идущий в узком фарватере и передающий неверный курс на штурвал. Роковой человек! Одно к одному: несчастный народ, выдвинувший нечестивый и ленивый высший класс, должен был потерпеть наказание, получив одностильного с ними царя» [18, с. 138–139]. В дневнике можно найти и такие строки: «Разве ты не убедился в низости и безверии церковной иерархии и в глупости царя... Просто Николай II был

слабый человек... Не большой это был человек, не сильный, – вот и вся его трагедия. Самоуверенный был необыкновенного... хотел быть самодержцем, полагая самодержавие в банальнейшем, чуть ли не бабьем толковании этого слова. Боялся людей умней себя – стало быть, не очень был умен... Бюрократ был, типичный чиновник, сидел двадцать лет в окопах казенных бумаг... Свидетель моего времени, я твердо уверен, что на месте Николая II можно было избежать и японской войны, и теперешней, и тогдашней революции, и теперешней... Но для этого нужно иметь не те газельи глаза, не тот изнеженный декадентский мозг, не то размягченное воспитание, не то чутье и характер... Не знаю, как я поступил бы, но следовало бы на троне сидеть громовержцу и полубогу, а не вырожденцу и слабняку» [18, с. 19, 155–157].

После сообщения о расстреле бывшего самодержца Меншиков записал в дневнике: «Тяжелая тоска на сердце. Зачем эта кровь? Кому она нужна? ... При жизни Николая II я не чувствовал к нему никакого уважения и нередко ощущал жгучую ненависть за его непостижимо глупые, вытекавшие из упрямства и мелкого самодурства решения... Это я ставил в вину царю *как хозяину*. Ничтожный был человек в смысле хозяина. Но все-таки жаль несчастного, глубоко несчастного человека: более трагической фигуры “Человека не на месте” я не знаю. Он был плох, но посмотрите, какой человеческой драматургией его окружил родной народ! От Победоносцева до Гришки Распутина все были внушители безумных, пустых идей. Все царю завязывали глаза, каждый своим платком, и не мудрено, что на виду живой действительности он дошел до края пропасти и рухнул в нее» [18, с. 169].

В письме, написанном весной того же года, другой монархист – Никольский, был не менее откровенен: «На реставрацию не надеюсь... Страшно то, что происходит, но реставрация была бы еще страшнее. Царствовавшая династия кончена, и на меня ее представителям рассчитывать не приходится. Та монархия, к которой мы летим, должна быть цезаризмом, то есть таким же отрицанием монархической идеи, как революция. До настоящей же монархии, неизбежной, благодатной и воскресной, дожить я не надеюсь. До нее далеко, и путь наш тернист, ужасен и мучителен, а наша ночь так темна, что утро мне даже не снится» [19].

На последних страницах дневника Меншиков писал в отчаянии: «Если ты выброшен за борт в пустынном море, то все, что бы ты ни предпринял, будет ошибкой. Единственно правильное – идти ко дну... радикальный способ спасения – книзу, в смерть... страшна ведь не смерть, а умирание, сознание гибели... О, если бы я был один! Взял бы котомку и пошел побираться Христа ради» [18, с. 221]. 14 сентября 1918 г. он был арестован и 20 сентября расстрелян чекистами на берегу Валдайского озера. В 1993 г. Меншикова реабилитировали: «Новгородская прокуратура удовлетворила долгие хлопоты потомка Меншикова и согласилась с тем, что обвинения определенных революционных групп в 1918 году против знаменитого русского журналиста были сфабрикованы из ничего» [20]. В настоящее время на могиле Меншикова и его сына, М. М. Меншикова, умершего в 1922 г., установлены памятная доска и крест. Там же похоронен и другой сын публициста – Г. М. Меншиков, скончавшийся в 1991 г.

Были репрессированы и другие правые. После падения самодержавия А. И. Дубровин арестовывался и допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства во главе с Н. К. Муравьевым. Исследователь монархического движения С. А. Степанов в новом дополненном вари-

анте своей монографии обращается к этому сюжету [21]. Правда, к сожалению, автор делает это не совсем корректно. Цитируя материалы из архивного следственного дела Дубровина¹, он не только не дает ссылку на текст публикации, оговорившись, что он располагает «только интернет-ссылкой на эти документы», но не указывает ни названия публикации, ни ее место, ни даже интернет-ссылку на сайт, откуда взят цитируемый материал [21, с. 477–478, 539].

Впоследствии Дубровин вспоминал, что 28 февраля 1917 г. был арестован и препровожден в Думу, откуда был в тот же день освобожден с охранными свидетельствами, данными ему лично и его имуществу. Но, выходя из Думы, он встретился с А. Ф. Керенским, который вновь приказал арестовать Дубровина. В ночь с 2 на 3 марта он был переведен в Петропавловскую крепость. Поэт А. А. Блок, участвовавший в работе комиссии, оставил описание своего посещения вместе с Муравьевым камеры, где сидел бывший лидер монархистов: «Дубровин, всхлипнувший и бросившийся целовать руку Муравьева, потом с рыданием упал на койку (гносные глаза у старика)» [21, с. 457].

Потом Дубровин рассказывал о том, как 24 мая 1917 г. его посетили в камере представители следственной комиссии во главе с Муравьевым. Последний объявил Дубровину, что следствие по его делу окончено и установлено, что он не совершил ничего преступного и поэтому отчислен от следственной комиссии во власть министра юстиции. При этом Муравьев посоветовал подать прошение об изменении меры пресечения, упомянув о том, что сделать это указано председателем ЧСК. После ухода представителей Комиссии Дубровин немедленно же подал прошение. 10 мая к нему опять пришел Муравьев с товарищем прокурора судебной палаты и напомнил Дубровину, что тот отчислен от Судебной комиссии и находится в ведении министра юстиции, рекомендовал обратиться с просьбой к пришедшему с ним товарищу прокурору. Дубровин попросил освободить его из заключения и сохранить оставшееся имущество, находящееся в его квартире, от расхищения. Товарищ прокурора обещал исполнить эти просьбы, после чего Дубровин был переведен во временное помещение офицерской гауптвахты.

20 октября 1917 г. он был отпущен к жене. 2 ноября ему была предоставлена полная свобода, «с правом проживать по всей России». 13 ноября 1917 г. он с женой переехал в Москву, где поселился на квартире старшего сына в Денисовском переулке (дом 9, квартира 1), где и проживал вплоть до ареста, произведенного уже чекистами. Жена Дубровина умерла 28 ноября 1918 г., сам же он в течение двух лет болел и никуда не выходил из квартиры до весны 1919 г. Чтобы достать средства он стал оказывать помощь больным в доме, в котором жил, а потом к нему стали обращаться и другие больные, живущие неподалеку. В ноябре он подал заявление с просьбой позволить ему поступить на советскую службу и с 1 декабря вплоть до ареста занимал должность врача Первой Лефортовской амбулатории. Измученный болезнью

¹ Материалы введены в научный оборот в статье: Макаров В. Г. Репников А. В. Русские монархисты после октября 17-го. Новые документы // Ф. И. Тютчев (1803–1873) и проблемы российского консерватизма. Сб. статей / Отв. ред. Ю. Г. Волков. – Р. И. Дону, 2004. Т. 1. – С. 47–65. См. также: *Они же*. Дубровин А. И. // Санкт-Петербург: Энциклопедия. – СПб.–М., 2004. – С. 261; *Они же*. Александр Дубровин и Лев Тихомиров: судьба после крушения самодержавия // Историк и время : Сборник научных статей. – Пенза, 2004. – С. 131–144.

он поклялся оставить политику и проводил жизнь совершенно уединенно, избегая всяких встреч и сношений с кем бы то ни было, кроме больных, к которым являлся только как врач. Уже после ареста он написал на одном из допросов: «Теперь убежденный, что предержавшее советское правительство стоит выше мести людям за прежние убеждения и деятельность, и, позволяя себе надеяться, что будет принято во внимание также и следствие, произведенное обо мне чрезвычайной судебной комиссией под председательством Н. К. Муравьева, продолжавшееся 3 месяца – март, апр[ель] и май 1917 и признавшее меня не совершившим ничего уголовного... я беру на себя смелость надеяться, что я буду возвращен к своей... работе врача...» [22, с. 270].

Дубровин был арестован 21 октября 1920 г. сотрудниками Особого отдела ВЧК в Москве по обвинению в том, что «с 1905 по 1917 гг. являлся председателем «Союза Русского Народа», который боролся с освободительным движением в России» [22, с. 270]. 30 октября 1920 г. Дубровину было предъявлено обвинение «в контрреволюции». Его лично допрашивали В. Р. Менжинский, М. Я. Лацис и Б. М. Футорян. 1 ноября следователь Особого отдела ВЧК В. Д. Фельдман вынес заключение по его делу, записав:

«Следственный материал, имеющийся в деле:

1. Собственные показания обвиняемого: Председатель Союза Русского Народа с 1905–1917 г. до февр[альской] революции, отрицает гнусности этого Союза, уверяет, что всегда любил евреев, утверждает, что «Союз» [занимался] культпросвет[ительной] работой.

2. Показания свидетелей: Вся Россия знает о деятельности Союза Русск[ого] Народа.

3. Вещественные доказательства —

4. Другие обстоятельства: гнусный старик, производит отвратительное впечатление на всех, кто с ним сталкивался и не знающих, кто он такой, дрожит за свою шкуру. Характерен прочерк в графе «вещественные доказательства» и стилистическое сходство данной следователем характеристики – «гнусный старик» с вышеприведенной записью Блока о Дубровине: «Гнусные глаза у старика».

На основании вышеизложенного следствием считается обвинение гр. Дубровина А[лексан]дра Иван[овича] в организации до рев[олюции] убийств, погромов, инсинуаций, подлогов, стремящихся всей своей деятельностью задуть освобождение России, доказанным-недоказанным за недостаточностью улики» [22, с. 308]. Слова на бланке «недоказанным за недостаточностью улики» были зачеркнуты. Решено было «на основании данных следствия и заключения следователя дело гр. Дубровина А[лексан]др[а] Ив[ановича] по обвинению его-ее в активн[ом] душителстве осв[ободительного] движ[ения] в России считать законченным и обвинение доказанным, дело передать на рассмотрение Коллегии ВЧК с предложением б[ывшего] председателя Союза Русского Народа А. И. Дубровина – расстрелять» [22, с. 309]. Сведений о точной дате приведения приговора в исполнение и месте захоронения Дубровина в Центральном архиве ФСБ России не имеется. В материалах дела содержатся два постановления по «делу Дубровина» с аналогичным приговором: 1) Коллегии ВЧК от 29 декабря 1920 г. и 2) заседания Президиума ВЧК от 14 апреля 1921 г. Датой смерти Дубровина принято считать 1921-й год. Спустя 77 лет после расстрела, по заключению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 7 сентября 1998 г., Дубровин был реабилитирован [22, с. 271].

В Петрограде, по сообщению советской прессы, 17 июня 1919 г. по приговору Петроградского ЧК в числе заложников с формулировкой «за принадлежность к контрреволюционной деятельности» был расстрелян Никольский. Библиотека ученого была конфискована и поделена между несколькими государственными книгохранилищами. В период «красного террора» был арестован Д. И. Иловайский, но благодаря усиленным хлопотам удалось добиться его освобождения. В своих воспоминаниях М. И. Цветаева подробно описала обстоятельства ареста и освобождения историка, который умер своей смертью 15 февраля 1920 г. В начале апреля 1919 г. А. С. Вязигин, продолжавший вести преподавательскую деятельность, был отстранен от преподавания и лишен профессуры. В мае его заключили в тюрьму. Современные исследователи недавно смогли уточнить обстоятельства его смерти [23]. Согласно этим обстоятельствам, Вязигин был отправлен из Харькова в Орел как заложник и зарублен в Орле 11 (24) октября 1919 г. Булацель, арестованный в сентябре 1918 г., был, как и Вязигин, объявлен заложником и расстрелян в Петрограде 2 (15) февраля 1919 г.

Арестованный в конце мая 1917 г. Н. Е. Марков был освобожден после допроса, на котором, в частности, признал: «Мы все уничтожены, мы фактически разгромлены, отделы наши сожжены, а руководители, которые не арестованы, – в том числе и я, пока не арестован, – мы скрываемся» [24]. До конца 1918 г. он прожил на нелегальном положении, участвуя в деятельности контрреволюционных организаций. Затем перебрался в Финляндию, боролся против большевиков в рядах Северо-Западной армии и весной 1920 г. эмигрировал в Германию. Был одним из наиболее активных деятелей русской монархической эмиграции. Организовал Съезд хозяйственного возрождения России (Бад Рейхенгалль, Бавария, 29 мая – 7 июня 1921 г.) и стал председателем избранного съездом Высшего монархического совета, который должен был координировать деятельность монархических сил, направленную на восстановление в России православной монархии. В двухтомнике «Войны темных сил», изданном в 1927–1930 гг., и в своих статьях Марков продолжал писать о том, что в российской революции виновны масоны, евреи и «британские империалисты». Он сожалел, что в период подъема монархического движения в 1906–1907 гг., когда Союз русского народа представлял удобную возможность, для создания «государственной организации всенародного монархизма» тогдашняя власть не доросла «до понимания того, что впоследствии понял в Италии Муссолини», досадовал, что у тогдашнего российского правительства не хватило силы «опереть Верховную Власть на организованную в мощные монархические союзы лучшую часть народа» [25]. Книги Маркова вызвали интерес среди немецких и русских националистов, что способствовало их переизданию и переводам на немецкий язык. Скончался Марков в Висбадене (Германия) в 20-х числах (по некоторым данным – 24) апреля 1945 г. Обстоятельства смерти и место захоронения неизвестны. Правда, в очередном томе издания «Незабытые могилы» в качестве года смерти Маркова, значится 1947, но это явная ошибка [26].

В эмиграции монархист Н. Д. Тальберг объяснял причины поражения правых: «В 1917 г. не могла создаться Вандея; Вандея во время опаснейшей внешней войны была бы явной изменой России. Отречение Государя Императора и Великого Князя Михаила Александровича и признание Временного

правительства многими Великими Князьями лишало монархистов даже формального права начинать в то время гражданскую войну – ради восстановления Монархии» [27].

Диапазон русского консерватизма был необычайно широк, включая в себя и крайних охранителей, и либералов-консерваторов, и «черносотенцев». Консервативный спектр русской политической жизни эволюционировал. В 1917 г., когда эта эволюция была прервана, она далеко еще не закончилась. Казалось, что после падения самодержавия правая идеология навсегда исчерпала себя в России, но этого не произошло. Идеям не свойственно исчезать бесследно. Будь это либеральная, консервативная или социалистическая идея, она не пропадает после того, как ее апологеты покинут политическую сцену. Идея «засыпает» или трансформируется (порой весьма неожиданно, как это было у тех монархистов, которые поддержали в эмиграции И. В. Сталина или А. Гитлера, или как это было у евразийцев и сменовеховцев, заимствовавших идеи из арсенала русских консерваторов).

Начиная с 1990-х гг. XX в. в научном и политическом мире значительно возрос интерес к русскому консерватизму и его представителям, хотя, безусловно, многое из того, что предлагали консерваторы на рубеже XIX–XX вв., кажется сейчас архаичным. Тем не менее, консерватизм не только остается предметом научных исследований, но и популярен в российской политике.

Список литературы

1. **Карцов, Ю. С.** Семь лет на Ближнем Востоке 1879–1886. Воспоминания политические и личные / Ю. С. Карцов. – СПб., 1906. – С. 392.
2. Из дневника Льва Тихомирова // Красный архив. – М., 1933. – Т. 6. – С. 118.
3. Из дневника Льва Тихомирова // Красный архив. – М., 1935. – Т. 5. – С. 134.
4. **Меньшиков, М. О.** Письма к русской нации / М. О. Меньшиков. – М., 1999. – С. 162.
5. **Лукьянов, М. Н.** Консервативная научная интеллигенция и власть (1907–1914) / М. Н. Лукьянов // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е – начало 1920-х годов : материалы Международного научного colloquiuma. – СПб., 2003.
6. **Строганов, В.** Русский национализм, его сущность, история и задачи / В. Строганов. – М., 1997. – С. 27–28.
7. Правые партии. 1905–1917 годы. Документы и материалы : в 2 т. / сост., авт. введен. и комм. Ю. И. Кирьянов. – М., 1998. – Т. 2: 1911–1917 годы. – С. 552.
8. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 25. Л. 46 об. – 48.
9. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 26. Л. 3 об. – 4.
10. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 27. Л. 71.
11. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 24. Л. 103 об.
12. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 27. Л. 59.
13. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 25. Л. 54.
14. Февральская революция 1917 года : сборник документов и материалов / сост. О. А. Шашкова ; отв. ред. А. Д. Степанский, В. И. Миллер. – М., 1996. – С. 303.
15. **Бабкин, М.** «Священство» против «царства»? / М. Бабкин // Родина. – 2007. – № 3.
16. **Меньшиков, М. О.** Жалеть ли прошлого? / М. О. Меньшиков // Новое время. – 1917. – 7(20) марта.
17. **Меньшиков, М. О.** Письма к ближним / М. О. Меньшиков // Новое время. – 1917. – 19 марта (1 апреля).
18. Российский Архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX века). М. О. Меньшиков. Материалы к биографии / публ. М. Б. Поспелова. – Вып. IV. – М., 1993.

19. Монархист и Советы. Письма Б. В. Никольского к Б. А. Садовскому. 1913–1918 / публ. С. В. Шумихина // Звенья. Исторический альманах. – Вып. 2. – М. ; СПб., 1992. – С. 359–360.
20. **Поспелов, М. Б.** О Меньшикове и веке двадцатом / М. Б. Поспелов // Меньшиков М. О. Кончина века. – М., 2000. – С. 4.
21. **Степанов, С. А.** Черная сотня / С. А. Степанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2005.
22. Следственное дело доктора Дубровина / вступ. ст., публ. и прим. В. Г. Макарова // Архив еврейской истории. Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства. – М., 2004. – Т. 1.
23. **Каплин, А.** Андрей Сергеевич Вязигин (1867–1919) / А. Каплин, А. Степанов // Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских монархистов начала XX века / сост. и ред. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. – СПб., 2006. – С. 363–366.
24. Падение царского режима. – М. ; Л., 1926. – Т. VI. – С. 191.
25. **Марков, Н. Е.** Войны темных сил. Статьи. 1921–1937 / Н. Е. Марков. – М., 2002. – С. 150.
26. Незабываемые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1999 / сост. В. Н. Чуваков. – М., 2004. – Т. 4.
27. **Тальберг, Н. Д.** О Вере, Царе и Отечестве / Н. Д. Тальберг. – М., 2004. – Кн. 1. – С. 552.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШИПОВ (1851–1920)

В статье рассмотрены основные вехи биографии российского политического деятеля начала XX в., одного из основателей «Союза 17 октября» – партии отечественного либерализма. Особое внимание уделено мировоззренческим основам незаурядной личности политической элиты позднеимперской России.

Дворянский род Шиповых ведет свое начало с XVI в. По семейной легенде, его основателем стал некий Андрей, прибывший на службу к царю Федору Иоанновичу и получивший прозвище «Шипов» [1, 2]. Отец Д. Н. Шипова, Николай Павлович, был подполковником Рязанского пехотного полка, в 1828–1836 гг. служил в лейб-гвардии Семеновском полку, а после выхода в отставку был избран Можайским уездным предводителем дворянства. В семье Н. П. Шипова и его жены Д. А. Окуловой было шестеро детей, последним из которых и был Дмитрий. Он родился 14 мая 1851 г. К сожалению, исследователи не располагают сведениями о детских и юношеских годах Дмитрия Николаевича. После окончания Пажеского корпуса в 1872 г. он получил придворный чин камер-юнкера. Поступив затем на юридический факультет Петербургского университета, 21-летний юноша женился на Надежде Александровне Эйлер, праправнучке академика Петербургской академии наук Леонарда Эйлера [3]. После окончания университета в 1877 г. Д. Н. Шипов с семьей переехал в родовое имение Ботово Волоколамского уезда Московской губернии, активно включился в местную хозяйственную и общественную деятельность. В том же году Дмитрий Николаевич был избран уездным земским гласным, одновременно исполняя обязанности мирового судьи. Спустя 14 лет, в 1891 г., его избрали председателем Волоколамской уездной земской управы, а еще через два года – председателем Московской губернской земской управы. Вслед за тем семья Шиповых окончательно переехала в Москву.

Для понимания общественно-политической деятельности Шипова и его поступков личного характера важно рассмотреть их побудительные мотивы. По собственному признанию Шипова, его жизнепонимание формировалось «на почве воспитанного... с детства религиозного сознания» и окончательно сложилось под нравственным влиянием двух русских мыслителей – Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. В письме к близкому другу и единомышленнику М. В. Челнокову 16 июля 1904 г. Шипов подчеркивал, что Толстой «помог мне разобраться и понять сущность христианского учения» [4]. По мнению Шипова, смысл жизни человечества заключается «в постепенном, но неуклонном движении по направлению к идеалу христианского учения – установлению Царства Божия на земле» [5, с. 3]. Разделяя понимание Толстым смысла христианского учения, Шипов, однако, не мог согласиться с отрицательным отношением великого писателя «к общественным установлениям и к участию в их жизни». Признавая в человеке приоритет «за внутренним устройством личности» и разделяя убеждение, что «никакой действительный прогресс в судьбе человечества немислим», пока не произойдет необходимой перемены «в основном строе образа мыслей большинства людей», Дмитрий

Николаевич был твердо убежден, что «усовершенствование основ и форм социальной жизни является необходимым условием для постепенного осуществления на земле идеала христианского учения». По его мнению, религиозно-нравственное устройство личности и улучшение общественной жизни не только не исключают друг друга, но и составляют в своей совокупности единое органическое целое, ибо «только разумное согласование и параллельное осуществление этих двух начал может обеспечить переустройство личной и общественной жизни согласно требованиям высшей правды» [5, с. 3].

Осознание Шиповым взаимосвязи «двух начал» – духовной и общественной жизни – было весьма продуктивным. Идея гармонического и взаимообогащающего развития духовной и общественной сфер жизни являлась основой для конструирования им «идеального» варианта общественно-политического устройства. Дмитрий Николаевич считал, что современный строй общества и государства сложился в условиях, противоречивших христианскому учению, и так как эти условия являются серьезным тормозом для духовного роста личности, их следует устранить. Поэтому человек, призванный служить общему благу, полагал он, не вправе «относиться только отрицательно к существующему укладу общественной жизни и воздерживаться от участия в ней». Более того, человек по долгу, налагаемому на него «законом христианской любви», должен всеми своими духовными и нравственными силами «содействовать постепенному обновлению общественного строя в целях устранения из него господства насилия и установления условий, благоприятствующих доброжелательному единению людей» [5, с. 6]. Служению делу «всечеловеческого единения» и была посвящена общественно-политическая деятельность Шипова.

Мировоззренческие принципы предопределили понимание им «целей и задач государственной жизни и соответствующего им государственного строя». Эволюционное развитие социальной и государственной жизни он рассматривал как результат постепенного развития и осуществления идей, усвояемых общественным сознанием. По его мнению, вся история человечества представляет собой процесс «поступательного движения в мире идей», постепенный переход «от идей низших к идеям высшим». «Общественный прогресс, – писал Шипов, – всегда выражается в освобождении от влияния идей, которые человечество переросло в своем духовном развитии, и в возрастающем сознании долга заботиться не столько о своем личном благополучии, сколько стремиться к обеспечению блага общего. Царство истины, добра и высшей правды – конечная цель мира, заключающая в себе смысл мирового прогресса и его разумное основание» [5, с. 136–137]. Вместе с тем Дмитрий Николаевич осознавал, что такой «плавный переход» от «идей низших к идеям высшим» есть, скорее, желаемое, ибо в реальной действительности чаще всего наблюдается иная картина, когда изменения в общественной и государственной жизни происходят под влиянием борьбы не духовных, а именно материальных сил. Однако изменения, осуществляющиеся путем насилия, не являются прочными, т.к. происходят до созревания новых идей и соответственного восприятия их массовым общественным сознанием. «Признавая внутреннее устройство личности главной основой улучшения и устройства всего социального строя, – подчеркивал Шипов, – нельзя в то же время не принять во внимание, что перевоспитание человеческой души совершается постепенно и что существенное воздействие этой основы на общественную

жизнь возможно лишь тогда, когда сознание высоких идеалов, поставленных пред человечеством, делается достоянием большинства людей» [5, с. 141].

Шипов прекрасно осознавал, что «стремясь к осуществлению того, *что должно быть*, нельзя не считаться с тем, *что есть* при существующем строе жизни и что на долгое время сохранит еще неизбежно свое влияние в жизни человечества». Эта посылка представляется, с одной стороны, исходной, определяющей принципы жизнедеятельности самого Дмитрия Николаевича, а с другой – говорит о понимании им «предельности возможного» на данном уровне духовного и нравственного развития общества, при существующем раскладе общественно-политических сил. Учет Шиповым возможных границ преобразования свидетельствует о его внимательном отношении к тому, что следует взять из прошлого в будущее, чтобы сохранить преемственность духовного и нравственного развития, исторические традиции. В противовес леворадикальному тезису о необходимости «перерыва постепенности» он ратовал за сохранение постепенности, за мирную трансформацию всех сфер духовной, социальной и общественно-политической жизни.

Шипов полагал, что в современных условиях государство – необходимое и неизбежное явление, однако оно не есть самодовлеющая цель своего существования. Прежде всего, государство есть средство, содействующее осуществлению высшей цели всечеловеческого бытия. «Государственный строй и установленный в нем правопорядок, – писал он, – должны исходить из признания равенства всех людей и обеспечения каждой личности полной свободы в своем духовном развитии и в своих действиях, не причиняющих ущерба и не производящих насилия по отношению к своим ближним в христианском значении этого слова» [5, с. 142]. Государство, по мнению Шипова, должно руководствоваться принципом христианской этики, всегда иметь «своей задачей улучшение общественной жизни ради всех своих членов». Политика и общественное хозяйство должны направляться государством к тому, чтобы объединять людей, а не разделять их. Для этого, считал он, необходимо, чтобы вся деятельность государства воспитывала в своих гражданах сознание идеи долга и противодействовала силой своего морального авторитета стремлению людей к отстаиванию и противопоставлению своих личных или классовых интересов. Иными словами, государство должно было всеми силами вести народ к тому, чтобы он стремился к нравственному совершенствованию: «Идея единения людей должна служить главным основанием государственного строя и политики государства» [5, с. 142].

В основе государственного устройства, по мнению Шипова, должны были лежать два исходных постулата – принцип права и принцип власти. Их необходимость обуславливалась, с одной стороны, «несовершенством человека, наделенного свободной волей, но еще не достигшего развития своего нравственного сознания и поэтому способного при проявлении своей деятельности нарушить нормальное течение жизни общества или отдельных его членов»; «поэтому установленные государством правовые нормы имеют целью оградить общество от посягательств со стороны злой воли людей». Подчеркивая исторически преходящий характер правовых норм, с другой стороны, Шипов отмечал, что они находятся в тесной связи со степенью развития современного нравственного сознания общества. Иными словами, то, что признавалось правильным и было узаконено правовыми нормами в былые времена, с развитием человечества, с ростом его духовного сознания пред-

ставляется не только устаревшим, но даже преступным. Поэтому крайне важно, подчеркивал он, чтобы правовые нормы, устанавливаемые государством, не отставали от роста общественного сознания, находились всегда «в соответствии с выясняющимися требованиями высшей правды с справедливости и содействовали тем дальнейшему воспитанию духа личности и общества» [5, с. 143–144].

Анализируя второй принцип государственного устройства, принцип власти, Шипов высказывался категорически против теории ее божественного происхождения, считая ее не соответствующей условиям, вызывающим необходимость «установления власти в государственном строе и поставляемым ей задачам». Главнейшая задача государственной власти, по мнению Шипова, заключалась в охране установленного в государстве правового порядка, выражающегося в действующем законодательстве, и в ограждении, путем применения принуждения и материальной силы, государственного строя, общественной безопасности и личных прав граждан от посягательств «злой воли людей». Признавая историческую необходимость власти с ее функциями принуждения, Шипов, вместе с тем, подчеркивал, что она «всегда оказывает некоторое развращающее влияние на обладающих ею и вызывает в них нередко склонность к злоупотреблению предоставленной им властью». Именно это свойство власти и условия, определяющие необходимость ее существования в государстве, и определили его отрицательное отношение к идее народовластия и народоправства. «Провозглашение идеи народовластия и стремление осуществить ее в государственном строе, – писал он, – невольно выдвигают на первый план значение личных прав граждан и заглушают или отодвигают на второй план сознание нравственного долга и обязанностей, лежащих на них, как на людях. Принцип народоправства полагает в основу государственного строя личную волю, личные права граждан, тогда как необходимое условие государственной жизни должно заключаться в подчинении личной воли иным, высшим качествам. Идея народовластия как бы призывает всех граждан к отстаиванию своих прав, поселает в них переоценку значения личных и классовых интересов и тем неизбежно влечет людей на путь социальной и политической борьбы» [5, с. 144–145].

По признанию самого Шипова, эти соображения воспитали в нем убеждение, в силу которого он признавал целесообразным, чтобы осуществление необходимой в государстве высшей власти было возложено на одно лицо, «стоящее вне столкновения отдельных общественных групп, и чтобы носителем власти был наследственный монарх». Наследственная монархия, утверждал он, исключает возложение власти на новое лицо путем проведения в стране периодических выборов, которые «неизбежно вызывают в государстве политическую борьбу и при которых избранный таким порядком носитель власти является невольно представителем победившей политической группы, а это условие лишает его возможности сохранения всегда необходимой объективности власти». Считая наследственную монархию оптимальной формой организации государственной власти, Дмитрий Николаевич был вынужден признать, что история знает бесчисленное множество случаев, когда монархия становилась абсолютной, а сам монарх, пользуясь неограниченной властью, своими произвольными действиями нарушал и подавлял права и свободы граждан. По его убеждению, подобное происходило из-за неправильно понимания сущности и задач государственной власти и неизбежно приво-

дило к нарушению связи власти с населением. В представлении Шипова, власть монарха должна быть сильной, но ее сила заключается в доверии народа. «Монарх, – подчеркивал Шипов, – должен всегда, прежде всего, смотреть на свою власть как на обязанность, возложенную на него, *tacito consensu* (с молчаливого согласия) всем народом, и осуществлять свою власть в соответствии с требованиями народного сознания. Следуя этим путем, власть должна стремиться к созданию и развитию тесного единения с населением, быть всегда осведомленной о его нуждах и всеми силами содействовать развитию личной и общественной самодеятельности» [5, с. 145]. Характерно, что в общетеоретических представлениях Шипова идея самодержавия не отождествлялась с идеей абсолютизма. Старое русское самодержавие, считал он, имело «в своей основе идею моральной солидарности государя и народа», получившую воплощение в Земских соборах.

Обращаясь к истории, Дмитрий Николаевич отмечал, что «у всех народов рано или поздно вводится в том или другом виде выборное представительство, которое вносит в государственную жизнь знание местных и общих потребностей страны». Народное представительство – необходимая предпосылка и условие «живого единения государственной власти с населением». Однако, признавая необходимость выборного представительства, Шипов выступал против конституционного ограничения прав государственной власти, с одной стороны, а с другой – расширения прав народного представительства. По его мнению, плодотворное взаимодействие власти и народного представительства возможно лишь при их моральной солидарности, при сознании и выполнении обеими сторонами лежащего на них нравственного долга, т.е. при том условии, что в основе взаимодействия власти и народа будет лежать «не столько идея правовая, сколько идея этико-социальная». Организация народного представительства и отношения между ним и монархом должны быть созданы «не во имя разделения их прав, а во имя сознания необходимости разделения и наилучшего выполнения лежащих на них обязанностей перед государством, в целях постепенного осуществления в жизни идеалов добра и правды» [5, с. 146].

Конструируя подобный вариант «идеального», на его взгляд, государственного устройства, Шипов полагал, что его реализация позволит, во-первых, сохранить единство власти и народа, направив их усилия к достижению «высшей цели, предстоящей человеческому бытию», а во-вторых, устранить из государственной жизни элемент политической борьбы, в результате чего народное представительство сможет явиться выразителем «соборной совести народа», будет способствовать удовлетворению материальных и духовных потребностей населения. «Государство, – писал Шипов, – не может не быть учреждением правовым, но право, нормирующее жизнь государства, всегда должно стремиться к постепенному установлению в государстве высшей правды и справедливости, призывающих всех людей к доброжелательному единению и к проявлению деятельной любви. Правовое государство должно всегда ставить себе целью создание условий государственной жизни, наиболее соответствующих этическим запросам человечества» [5, с. 146–147]. Однако, по мнению Шипова, с воцарением Петра I самодержавие утратило свой прежний идейный характер и превратилось в неограниченное самовластие. «Живая связь и взаимодействие, – подчеркивал он, – были нарушены, и государственная власть присвоила себе исключительное право направления всей государственной

жизни по своему усмотрению, не считаясь ни с волей, ни с голосом народной совести». Поэтому историческая задача, стоящая перед Россией, заключается в восстановлении «всегда необходимого в государстве взаимодействия государственной власти с населением и в привлечении народного представительства к участию в государственном управлении» [5, с. 148].

Эти исходные общетеоретические представления были положены Шиповым в основу его общественно-политической деятельности. В начале 1900 г. Д. Н. Шипов вступил в кружок «Беседа», созданный в Москве в 1899 г. и регулярно в течение шести лет собиравшийся полулегально на квартирах видных общественных деятелей. Выступая на заседаниях кружка, Дмитрий Николаевич последовательно отстаивал свою мировоззренческую позицию, считая, что «всякое государственное преобразование должно совершаться с осторожностью и постепенно, не вызывая обострения политических отношений в стране». По его мнению, необходимость реформы должна быть, с одной стороны, «осознана и признана широкими кругами населения», а с другой – чтобы «необходимые преобразования происходили в условиях, примиряющих с ним государственные и общественные элементы, игравшие руководящую роль в изменяемом государственном строе». В принципе отстаивая идею созыва народного представительства (Земского собора), Шипов, тем не менее, считал возможным на данном этапе ограничиться введением в состав комиссии при Государственном Совете выборных представителей общественных учреждений, что послужило бы первым шагом для «дальнейшего развития народного представительства и для создания его взаимодействия с самодержавной властью на основе сознания обеими сторонами лежащего на них одинакового нравственного долга» [5, с. 150].

По поручению «Беседы» Шипов подготовил вариант программы предстоящих преобразований из девяти тезисов. Констатируя «ненормальность настоящего порядка государственного управления», выражающегося в отсутствии «взаимного доверия между правительством и обществом», в них он настаивал на необходимости «свободы совести, мысли и слова»; предоставлении обществу права «доводить до сведения самодержавного государя о своих нуждах и о действительном положении вещей на местах; привлечении представителей общественных учреждений «к участию при обсуждении законопроектов в комиссиях при Государственном Совете»; высказывал пожелание, чтобы к «обсуждению в центральных государственных учреждениях законопроектов и различных государственных мероприятий привлекались представители общества исключительно по его избранию, так как только при этом условии эти лица могут являться представителями общественного мнения, и будет исключена возможность преднамеренного подбора лиц» [5, с. 151–152].

Обсуждение тезисов Шипова вызвало разногласия среди участников «Беседы». Сторонники «идеального самодержавия» Ф. Д. Самарин и его единомышленники усмотрели в требовании привлечения избранных общественных представителей к законодательной деятельности первый шаг для перехода к конституционному режиму, который, по их мнению, был преждевременным. В свою очередь, сторонники более радикальных преобразований – князя С. Н. Трубецкой, П. Д. Долгоруков и другие – считали идею созыва Земского собора и восстановления «идейного самодержавия» утопичной и настаивали на замене «приказного строя строем конституционным». В ходе многочисленных дискуссий, проходивших весной–осенью 1901 г., члены кружка «Беседа» так и

не пришли к определенному решению, по существу отказавшись от идеи подготовки программы реформ и подачи ее царю в виде записки.

Оппозиционная деятельность Шипова на посту председателя Московской губернской земской управы вызвала негодование властных структур и при его избрании на очередное трехлетие 14 февраля 1904 г. министр внутренних дел В. К. Плеве не утвердил его в должности. Однако, несмотря на переезд из Москвы в Ботово, Шипов продолжил активно участвовать в земском движении. После убийства Плеве и назначения на пост министра внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского, казалось, можно было надеяться на то, что идея организации съездов земских деятелей, созревшая в либеральных общественных кругах, не встретит со стороны правительства прежнего непримиримого отторжения. 8 сентября 1904 г. новый председатель Московской губернской земской управы Ф. А. Головин созвал Организационное бюро земских съездов, которое приняло решение провести в Москве съезд земских деятелей, намеченный на 6–7 ноября этого года. На съезде предстояло рассмотреть вопрос об общих условиях государственной жизни и желательных в ней изменениях. Характерно, что единственным человеком, выступившим на заседании бюро против включения этого пункта в повестку дня предстоящего съезда, был Д. Н. Шипов. По его мнению, прежде чем рассматривать этот принципиальный по важности вопрос, необходимо было «рассеять и устранить» то недоверие к общественным силам, которое долгое время являлось основой политики государственной власти, и только потом решать проблему организации ее взаимодействия с народным представительством.

Ноябрьский съезд 1904 г. оказался самым представительным из всех последующих земских съездов. В его заседаниях приняло участие 105 делегатов от 33 губерний; это был цвет земства. На съезде присутствовало 32 из 34 председателей губернских управ России. Делегатами были 14 председателей уездных управ, а остальные – членами управ, губернскими или уездными гласными. Среди делегатов было семь князей, два графа, два барона, семь предводителей дворянства. Председательствовал на съезде Дмитрий Николаевич Шипов. Ноябрьский съезд 1904 г. и последующие события явились важным этапом, который, с одной стороны, отразил все более углубляющуюся политическую дестабилизацию в стране, а с другой – дальнейшую дифференциацию в русском либерализме, приведшую вскоре к его расколу на два крыла – консервативное меньшинство и относительно радикальное большинство. Несмотря на настойчивые призывы к умеренности и постепенности в проведении реформ, Шипов и его сторонники оказались на съезде в меньшинстве. Либералы-консерваторы отстаивали идею законосовещательного народного представительства, логически вытекавшую из шиповской формулы: «Царю власть, народу мнение». Большинство же делегатов было убеждено в необходимости придания народному представительству законодательных прав, что, естественно, повело бы к ограничению власти царя и усилению контроля со стороны общества за государственным управлением.

Потерпев поражение на ноябрьском съезде, Шипов с группой единомышленников (в их числе были М. А. Стахович, князя П. Н. Трубецкой, В. М. Голицын, Г. Г. Гагарин) разработали и предложили на суд общественности собственную программу реформ, изложенную в брошюре «К мнению меньшинства частного совещания земских деятелей 6–8 ноября 1904 года». Ее суть заключалась в следующем: во-первых, народное представительство

«не должно иметь характера парламентарного, с целью ограничения царской власти, но должно служить органом выражения народного мнения, для создания и сохранения всегда тесного единения и живого общения царя с народом»; во-вторых, «народное представительство должно быть организовано как особое выборное учреждение – государственный Земский совет». В программе подчеркивалось, что «народное представительство должно быть построено не на всеобщем и прямом избирательном праве, а на основе реформированного представительства в учреждениях местного самоуправления, причем последнее должно быть распространено по возможности на все части Российской империи». В функции Земского совета входило: 1) обсуждение государственного бюджета; 2) рассмотрение законопроектов и отчетов по исполнению государственной росписи и деятельности ведомств; 3) возбуждение вопросов о необходимости новых законов или изменения старых; 4) право запросов министрам [5, с. 305]. Однако эта умеренная программа преобразования государственного строя России не встретила поддержки ни со стороны Организационного бюро земских съездов, в котором руководящая роль принадлежала конституционалистам, ни со стороны либеральной общественности, группировавшейся вокруг Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов.

Революция 1905 г. разрушила иллюзии о возможности мирного урегулирования конфликта власти с либеральной оппозицией. Либералы были вынуждены отказаться от дальнейшего ожидания новой «эпохи великих реформ» и совершить тактическую переориентировку – от уговоров правительства и царя провести коренные преобразования «сверху», перейти к попыткам уговорить левых радикалов умерить свои требования и согласиться на совместные действия. Однако Дмитрий Николаевич еще какое-то время сохранял надежду, что ему все же удастся убедить хотя бы некоторую часть умеренной земской оппозиции в бесперспективности выдвижения радикальных требований, которые могли заставить правительство отказаться от шагов, намеченных в Указе 12 декабря 1904 г. и Манифесте 18 февраля 1905 г., и вернуться на путь репрессий в отношении либеральной оппозиции. Вполне закономерно, что после издания Манифеста 17 октября 1905 г. Шипов одним из первых согласился принять участие в переговорах с графом С. Ю. Витте о формировании правительства нового состава.

Как видному общественному деятелю, пользующемуся доверием в широких кругах населения, Витте предложил Шипову занять в формирующемся правительстве пост государственного контролера. Выразив принципиальное согласие, Дмитрий Николаевич, однако, посоветовал премьер-министру пригласить в состав кабинета не только «представителя правого крыла земства», как он сам себя называл, но и деятелей других «крыльев» либерального направления, что, по его мнению, способствовало бы созданию «атмосферы доверия со стороны общества». 23 октября 1905 г. в Петергофе состоялась встреча Дмитрия Николаевича с Николаем II, на которой Шипов вновь повторил идею о желательности привлечения к участию в государственном управлении целой группы лиц, принадлежащих к «различным течениям политической мысли». Только при этом непременном условии, полагал он, в России могло бы установиться «необходимое между правительством и обществом доверие», причем, по его словам, общество получит уверенность в возможно полном осуществлении прав, дарованных ему Манифестом 17 ок-

тября. Аргументы Шипова услышаны, однако, не были, и вхождение в состав правительства общественных деятелей так и не состоялось.

6–13 ноября 1905 г. в Москве состоялся съезд земских и городских деятелей, по существу завершивший процесс идейно-политической дифференциации в либеральной среде, которая распалась на различные партийные группировки. Еще в октябре 1905 г. была создана конституционно-демократическая партия, в которую вошли члены Союза освобождения и более радиально настроенные представители Союза земцев-конституционалистов. Относительно умеренные элементы земско-городских съездов приступили к формированию партии октябристов. Учредителями «Союза 17 октября» стали граф П. А. Гейден, Д. Н. Шипов, А. И. Гучков, М. В. Красовский, М. А. Стахович, князь Н. С. Волконский и др. Шипов стал первым председателем «Союза 17 октября».

Обострившаяся конфликтная ситуация между I Думой и правительством И. Л. Горемыкина привела к возобновлению переговорного процесса между властью и представителями либеральной общественности. 27 июня 1906 г. с Дмитрием Николаевичем встретился министр внутренних дел П. А. Столыпин. В ходе беседы министр заявил о возможности образования коалиционного кабинета под председательством Шипова. Предполагалось, что в правительство войдут как приглашенные Шиповым общественные деятели, так и представители бюрократических кругов, в том числе и сам Столыпин. Однако представители кадетской партии не поддержали предложение о создании коалиционного кабинета под председательством Шипова, ибо в это время, ведя параллельные переговоры со Столыпиным и Д. Ф. Треповым, строили планы создания «ответственного» министерства. Шипов, который отстаивал идею создания кабинета из представителей думского большинства, также отрицательно отнесся к предложению возглавить коалиционный кабинет и отказался войти в его состав. По мнению Шипова, со Столыпиным они принципиально расходились в понимании текущих и перспективных задач правительственной власти. «Я, – писал позднее Дмитрий Николаевич о Столыпине, – вижу в нем человека, воспитанного и проникнутого традициями старого строя, считаю его главным виновником роспуска Гос. Думы и лицом, оказавшим несомненное противодействие образованию кабинета из представителей большинства Государственной Думы; не имею вообще никакого доверия к П. А. Столыпину и удивляюсь, как он, зная хорошо мое отношение к его политике, ищет моего сотрудничества» [5, с. 462]. Программа Шипова, его требование о предоставлении либеральной оппозиции перевеса в правительстве были отвергнуты сначала Столыпиным, а затем и Николаем II. Незадолго до открытия II Государственной думы Шипов сложил с себя обязанности председателя Центрального комитета «Союза 17 октября», а в ноябре 1906 г. вообще вышел из партии. После роспуска II Думы общественные деятели типа Шипова оказались в трудном положении. Перед Дмитрием Николаевичем со всей остротой встал вопрос о возможности активного участия в политической деятельности вообще. Однако принять такое решение для него оказалось не просто. Он вспоминал впоследствии: «...устраняясь от активных политических выступлений, я, однако, не мог, в предвидении надвигающейся катастрофы, не сознавать своего долга посильно содействовать осуществлению всякого рода попыток объединения в стране всех прогрессивных элементов» [5, с. 511].

Выйдя из «Союза 17 октября», Шипов принял участие в создании нового политического объединения – Партии мирного обновления, костяк которой составляли хорошо известные ему умеренные либералы – граф П. А. Гейден, И. Н. Ефремов и Н. Н. Львов. Лидеры новой партии выступали против правительственного произвола, настаивали на мирном разрешении конфликта между властью и обществом. «Осуждение произвола и насилия, от кого бы они не исходили, – вспоминал Шипов, – легло в основу вновь образуемой партии» [5, с. 513]. Однако уже в скором времени учредителям партии пришлось убедиться в неосуществимости своих надежд объединить значительное число лиц, которым было бы дорого мирное преобразование государственного строя. Сам Шипов, выставивший свою кандидатуру на выборах в III Думу, не только не был избран депутатом, но и не оказался в числе выборщиков губернского избирательного собрания. Это было последней каплей, переполнившей чашу его терпения. На этот раз он принял окончательное решение отказаться от политической деятельности и вновь сосредоточиться на земской работе. Но и участие в работе губернского земства, и деятельность в Московской городской думе уже не приносили ему должного удовлетворения. В феврале 1911 г. Шипов принял решение о сложении с себя полномочий земского гласного. Вместе с тем в своих письмах к М. В. Челнокову он постоянно подчеркивал, что сохраняет веру «в смысл жизни, вытекающий из христианского жизнепонимания», веру «в неизбежность торжества правды и добра» [6]. В этих письмах часто прорываются нотки обиды и сожаления их автора в связи с его вынужденным отходом от активной общественной работы, которой был отдан 31 год жизни, неудовлетворенность материальным положением, а также желание заняться какого-либо рода коммерческо-организаторской деятельностью. В итоге уже в феврале 1911 г. Шипов принял предложение М. И. Терещенко стать управляющим «Товарищества братьев Терещенко» по производству сахара с окладом 30 тыс. рублей в год. Оставив детей в Москве, супруги Шиповы переехали в Киев. Можно предположить, из Киева в подмосковное Ботово Дмитрий Николаевич вернулся только в начале Первой мировой войны. Здесь он завершил работу над книгой «Воспоминания и думы о пережитом».

В мае 1918 г. Д. Н. Шипов вновь переехал в Москву. Известно, что в феврале–марте этого года здесь было создано надпартийное объединение «Правый центр», в состав которого вошли «Совет общественных деятелей», «Торгово-промышленный комитет», «Совет земельных собственников», а также отдельные представители руководящих органов кадетской партии и ряда право-монархических партий. Возглавил это межпартийное объединение А. В. Кривошеин, бывший министр царского правительства [7]. Эта коалиция, однако, оказалась весьма недолговечной и непрочной и раскололась сразу после заключения большевиками 3 марта 1918 г. Брест-Литовского сепаратного мира с Германией. В мае 1918 г. в противовес «правоцентристам», занявшим выраженную германофильскую позицию, были созданы две автономно действующие организации – Всероссийский Национальный центр и Союз возрождения России, а сам «Правый центр» фактически прекратил существование в конце июля – начале августа 1918 г. Судя по показаниям С. А. Котляревского, вошедшим во второй том «Красной книги ВЧК» и неопубликованным воспоминаниям Н. И. Астрова, хранящимся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), инициатива создания Всерос-

сийского Национального Центра (ВНЦ) принадлежала трем членам ЦК партии кадетов – Н. И. Астрову, В. А. Степанову и Н. Н. Щепкину. В руководящее ядро ВНЦ ими были также приглашены М. М. Федоров и Д. Н. Шипов¹.

В исследовательской литературе и мемуарах высказаны различные мнения о том, кто являлся председателем правления Национального центра. Так, по мнению Котляревского, до января 1919 г. председательские функции в московской организации ВНЦ исполнял Шипов, который «был важен для инициаторов Национального Центра как человек, пользующийся крупным нравственным авторитетом. Его уважали даже люди, политически с ним весьма несогласные. Он сразу же стал как бы председателем и руководителем кружка. Его влияние в течение всего 1918 г. было очень сильно» [9, с. 141]. С конца же января 1919 г., по свидетельству того же мемуариста, председательство перешло к Щепкину. С другой стороны, Астров сообщает, что с момента образования ВНЦ его председателем был Федоров [10, л. 6].

Анализ имеющихся в нашем распоряжении источников позволяет утверждать, что разночтения между Котляревским и Астровым относительно исполнения Шиповым председательских функций в московском отделении Национального центра обусловлены, во-первых, временными различиями вступления того и другого в данную организацию, а во-вторых, различной степенью информированности этих авторов. В первоначальное ядро ВНЦ входили Н. И. Астров, В. А. Степанов, П. Б. Струве, М. М. Федоров, Д. Н. Шипов и Н. Н. Щепкин. До отъезда из Москвы на юг Степанова (июнь, 1918), Астрова, Федорова и В. Н. Челищева (сентябрь, 1918) председателем Центра действительно был Федоров. После того, как в Москве из первоначального ядра организаторов ВНЦ остались только Шипов и Щепкин, они пригласили войти в его состав С. А. Котляревского, О. П. Герасимова, Н. А. Огородникова, князя С. Е. Трубецкого, Н. К. Кольцова, В. Н. Муравьева и М. С. Фельдштейна. Как нам удалось установить, с ноября 1918 г. по апрель 1919 г. председательские функции в новом составе Национального центра исполнял Шипов, а в его отсутствие – Щепкин. Заседания ВНЦ проходили дважды в месяц в помещении Института экспериментальной биологии, который возглавлял профессор Кольцов. Московское отделение Национального Центра разработало и приняло программу, которая включала следующие пункты: «борьба с Германией, борьба с большевизмом, восстановление единой и неделимой России, верность союзникам, поддержка Добровольческой армии, как основной русской силы для восстановления России, образование всероссийского правительства в тесной связи с Добровольческой армией и творческая работа для создания новой России, России после февральского переворота, форму правления которой может установить сам русский народ через свободно избранное им народное собрание» [10, л. 4 об.].

Деятели ВНЦ энергично занимались разработкой законодательных проектов по всем основным отраслям государственного управления – экономике, финансово-кредитной системе, железнодорожному транспорту, рабочему, аграрному и национальному вопросам. «Национальный центр, – писал

¹В своем письме М. В. Челнокову от 9(22) августа 1918 г. Д. Н. Шипов писал: «С отрядным чувством наблюдаю резкую перемену, происходящую среди к.-д. Между нами и мной нет линий, разделявших нас на земском съезде 1904 г. Мы говорим на одном языке и между нами нет более разногласий» [8].

Астров, – полагал, что недостаточно сломать большевиков, но одновременно необходимо создать условия, обеспечивающие быстрое восстановление нормальной жизни в опустошенной большевиками стране» [10, л. 4 об.]. Шипов принимал участие как в обсуждении общей программы Национального центра, так и в дискуссиях по отдельным законопроектам и предложениям. Будучи последовательным сторонником союзнической ориентации, он ставил своей задачей противодействие германофильским течениям. По его мнению, «война должна быть доведена до конца, то есть до разгрома германского империализма и милитаризма» [9, с. 141]. Для осуществления этой цели он считал необходимым оказывать всестороннее содействие Добровольческой армии, отправке на Юг офицеров, сбору финансовых средств. Участвуя в мобилизации антибольшевистских сил, Дмитрий Николаевич вместе с тем был решительным и последовательным противником возврата к старым порядкам во всех сферах жизнедеятельности. Так, в ходе обсуждения на заседаниях Национального центра аграрного вопроса он, по воспоминаниям С. А. Котляревского, «был вообще противником частной собственности на землю, сторонником национализации земли, горячо отстаивал общину» [9, с. 144]. Выступая против стачек и локаутов, он ратовал за создание третейских судов для разрешения конфликтов между рабочими и предпринимателями [9, с. 145].

Однако с весны 1919 г. деятельность Национального центра, по свидетельству С. А. Котляревского и О. П. Герасимова, стала все менее удовлетворять Шипова. Он все реже приходил на его заседания. В показаниях Котляревского, например, упомянуто лишь одно посещение Шиповым заседания Национального Центра «на пасху 1919 г., когда приехавший с Юга Хартулари делал подробное сообщение». Совещания Национального Центра, отмечал Котляревский, «казались ему достаточно академическими и бесплодными... В разговорах с членами совещания Шипов больше ссылался на свое здоровье, но не скрывал и своих разочарований» [9, с. 151–152]. Согласно показаниям Герасимова, весной 1919 г. Шипов стал «сильно хворать и, наконец, прекратил посещать заседания Национального центра». В мае 1919 г., свидетельствовал Котляревский, Дмитрий Николаевич «окончательно перестал бывать на совещаниях Национального центра и совсем от него вообще отошел» [9, с. 157, 312–313]. С этого времени председательство в ВНЦ перешло к Н. Н. Щепкину.

Несмотря на все это, Дмитрий Николаевич не смог избежать тюремного заключения. В первый раз московская ЧК арестовала его в ночь с 29 на 30 августа 1919 г. по ордеру № 681, и он был отконвоирован в Бутырскую тюрьму. 4 сентября 1919 г. состоялся первый и единственный допрос Шипова, снятые с него тогда показания сохранились. Однако материалов, полученных следователями московской ЧК, было явно недостаточно для начала крупномасштабного дела. Чекистский следователь пришел к заключению, что «по переписке и опросу не оказалось данных, что Шипов состоит в какой-либо организации – политической» и предложил его дело «на заключение комиссии». 19 сентября 1919 г. комиссия МЧК постановила освободить Дмитрия Николаевича из-под ареста. Однако уже в ночь с 21 на 22 октября того же 1919 г. он был арестован снова, на этот раз – Особым отделом ВЧК по ордеру № 1350 и попал в шестиаршинную камеру Внутренней лубянской тюрьмы, в которой уже находились восемь узников. Никаких обвинений

Шипову вновь предъявлено не было. В этой связи Дмитрий Николаевич трижды (25 октября, 1 и 11 ноября 1919 г.) обращался с заявлениями в президиум Особого отдела с просьбой ускорить рассмотрение его дела. В последнем из них он писал: «Я остаюсь в полном неведении о причинах моего задержания, ввиду этого прошу Президиум на основании 2 пункта декрета ВЦИК об амнистии, сделать распоряжение о моем освобождении, приняв во внимание: мою старость (68 лет), мое болезненное состояние и сильно развивающийся упадок сил за время моего заключения. Дальнейшее задержание меня грозит подорвать окончательно мое здоровье и мою работоспособность» [11, л. 83].

Еще раньше, 3 ноября 1919 г., в письме к дочери Шипов просил ее обратиться к Л. Б. Каменеву, чтобы тот посодействовал его освобождению из тюрьмы. «Я надеюсь, – писал он, – что Л. Б. доверяет моему честному слову, что я не уеду из Москвы, никуда не скроюсь, не принимаю и не приму участия в какой-либо контрреволюционной организации. Условия здешнего заключения ужасны как в материальном, так и в моральном отношении, и долго выдержать этот режим невозможно... Вследствие неврита не могу лежать на жестком и ночи провожу, сидя на единственном сломанном кресле. Сегодня была 13-ая ночь... Буду надеяться, что Л. Б. не откажет мне в своем содействии и меня выручит» [11, л. 85–86]. Трудно сказать, удалось ли Надежде Дмитриевне встретиться с Каменевым и передать ему просьбу отца. Однако известно, что 6 ноября в Особый отдел поступила справка за подписью Ф. Э. Дзержинского, в которой сообщалось, что, по сведениям некоего матроса М. М. Яновского, допрошенного в Президиуме ВЧК 30 октября 1919 г., именно Шипов являлся председателем Национального центра, а Н. Н. Щепкин играл в нем лишь «вторую роль». И хотя Яновский свое заявление сделал «по слухам» («слышал, будто Шипов стоит во главе Национального центра и прочитал в «Известиях», что возглавлял Национальный центр Н. Н. Щепкин») [11, л. 67–68 об.], на Лубянке за эту «информацию» ухватились, посчитав весьма важной.

В три часа ночи 12 ноября Шипова повели на допрос, который проводили В. А. Аванесов и К. И. Ландер (Ляндер). Обычный для лубянского учреждения вызов подследственного в столь поздний час преследовал цель – взять арестованного врасплох. О содержании этой ночной «беседы» Шипов поведал в письме А. М. Полянскому. «Аванесов и Ляндер, – писал он, – начали с заявления, что им все известно о моем участии в Национальном центре и что поэтому мне лучше рассказать все откровенно. Я выразил сожаление, что они поспешили составить себе предвзятое мнение, и попросил объяснить, на чем основывается их предположение. Они указали на какие-то бумажки на столе, говоря, что в них содержатся указания ряда лиц, назвали имя и фамилию каких-то юных офицеров, мне совершенно не известных, как я об этом заявил» [11, л. 72–72 об.]. 15 ноября 1919 г. состоялся второй допрос, который закончился так же безрезультатно, как и первый. Шипов по-прежнему категорически отрицал свое участие в Национальном Центре и заявил, что еще летом 1918 г. на встрече с Федоровым высказал свое «принципиально отрицательное отношение к активной политической борьбе».

19 ноября 1919 г. Шипова отконвоировали на Лесную, 43 – в Бутырскую тюремную больницу. В своем письме Полянскому он рассказал о своих тюремных мытарствах: «Условия заключенных там ужасные и м[огут] б[ыть] характеризованы как мучительство арестованных в материальном и

моральном отношении и как постоянное издевательство над их человеческим достоинством. Благодаря таким условиям болезни среди арестованных быстро распространяются и получают угрожающее для жизни арестованных развитие. Администрация на это никакого внимания не обращает и больных отправляют в больницу очень поздно». О своем собственном состоянии Дмитрий Николаевич сообщал: «Вследствие грязи, сырости, холода и голода и большого стеснения в помещении уборной кисти рук покрылись фурункулами и сильно расстроилось пищеварение, и то и другое обусловило быстро увеличивающийся упадок сил». Условия тюремной больницы были несколько лучше, но здесь, если верить Шипову, не было ни медикаментов, ни перевязочных средств. «Рукам получше, но пищеварение все хуже. Силы с каждым днем оставляют, а с 5 декабря я все время лежу, с трудом пробираясь в уборную. Но сейчас я еще в силах, если буду освобожден, дотащить до извозчика и как-нибудь возвратиться к себе на 6-й этаж. Но если мое освобождение задержится еще несколько дней, то тогда и оно окажется запоздалым и приходится издыхать здесь», – писал Шипов. Вероятно, потеряв надежду на заступничество Каменева, здесь же он просил своего корреспондента обратиться к Д. Б. Рязанову с просьбой энергично вмешаться в дело своего освобождения. «Потеря каждого дня, – писал он, – имеет для меня губительное значение. Рассчитываю на Вашу дружескую поддержку» [11, л. 78–78 об.].

Обращения к Л. Б. Каменеву и Д. Б. Рязанову оказались безрезультатными, и смертельно больного Шипова продолжали держать в заключении. 13 января 1920 г. К. И. Ландер подготовил заключение по его «делу», которое представляется целесообразным привести дословно и целиком: «Согласно показаний Яновского М. М. и Кисловского Л. Л., а также по данным дела о Национальном центре, – Д. Н. Шипов является одной из центральных фигур Национального центра, в качестве старого земского деятеля возглавляющим эту организацию. Хотя следствием документально не установлено, но ряд данных приводит к заключению, что Д. Н. Шипов намечался на пост председателя Национального центра и должен был войти в состав правительства по захвате заговорщиками власти в Москве. Установлено сношение Шипова с отделами Национального центра в провинции. Исходя из данных следствия по настоящему делу и принимая во внимание, что хотя активная деятельность Д. Н. Шипова по Национальному центру не установлена, но как политическая фигура он возглавлял эту организацию, находился в связи с видными деятелями ее – его, Д. Н. Шипова, как видного политического деятеля враждебного нам лагеря, имеющего тесные связи с Национальным центром и крупного заложника, – заключить в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны»¹ [11, л. 123].

Однако на глаза Дмитрия Николаевича этот документ так и не попал – в 5 часов утра 14 января 1920 г. он скончался в тюремной больнице от катарального воспаления легких [11, л. 103, 105]. Узнав о смерти отца, Надежда Дмитриевна Шипова обратилась в Особый отдел ВЧК с просьбой выдать тело родственникам для захоронения. Вопреки обычаю, эту просьбу лубянского руководство удовлетворило. Похоронен Дмитрий Николаевич в фамильном склепе Шиповых на Ваганьковском кладбище в Москве.

¹ Сохранена орфография и пунктуация источника.

Список литературы

1. Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 440. Картон 12. Д. 28. Л. 15.
2. Поколенная роспись роду древних дворян Шиповых. – Кострома, 1811.
3. **Юшкевич, А. П.** Леонард Эйлер. Жизнь и творчество / А. П. Юшкевич // Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука. – М., 1988. – С. 19.
4. ГАРФ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 494. Л. 14–15.
5. **Шипов, Д. Н.** Воспоминания и думы о пережитом / Д. Н. Шипов. – М., 1918. – С. 3.
6. ГАРФ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 496. Л. 7.
7. Протоколы Всероссийского Национального центра // Отечественная история. – 1997. – № 5. – С. 151–153.
8. ЦА ФСБ. Р-27944. Т. 1. Л. 48 об.
9. Красная книга ВЧК. – М., 1989. – Т. 2. – С. 141.
10. ГАРФ. Ф. 5913. Оп. 1. Д. 272. Л. 6.
11. ЦА ФСБ. Р-27944. Л. 83.

СТАНОВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В статье на основе архивных документов, материалов периодической печати и воспоминаний современников автор анализирует условия и причины создания советской системы политического контроля и ее основные структурные элементы, к важнейшим из которых относятся цензура, средства массовой информации (для изучаемого периода – в основном газеты и радио), институты образования и культуры, искусство, пропаганда и агитация.

В периоды общественных преобразований, до сего времени не завершенных в России, решается вопрос о поиске моделей жизнеустройства, и только глубокий, тщательный и всесторонний анализ специфики российской истории позволит устранить дестабилизирующие общество и политику факторы, а также определить место России в современном мировом сообществе. Суть исторического развития России XX в. составляет ее переход из аграрной в индустриальную страну. В связи с этим становление и развитие в России сталинской модели государственности с присущей ей системой политического контроля является одной из актуальных проблем в зарубежной и отечественной историографии.

Опыт человечества уже позволяет анализировать объективные и субъективные причины создания системы политического контроля, ее специфические черты, особенности и закономерности функционирования. Интенсификации процесса становления политического контроля способствовал технический прогресс, позволивший максимально для того времени расширить рамки информационного пространства. В прошлом столетии в связи с распространением средств массовой коммуникации произошло превращение общества в информационное, что создало максимально благоприятные условия для политического контроля. Благодаря этому полное подчинение всех сфер жизни общества достигается не только и не столько путем насилия, сколько опорой и манипуляцией с представлениями и образами, уходящими своими корнями в далекое прошлое. В XX в. влияние масс на социально-политические процессы заметно усиливается. В свою очередь, со стороны власти это вызывает стремление контролировать и максимально использовать это влияние. В связи с этим существенно возрастает интерес к способам политического контроля, манипуляции массовым сознанием, т.е. к оказанию на него воздействия с целью изменения системы ценностей, взглядов и т.д.

Кроме того, специфику советской системы политического контроля определяли, во-первых, острый национальный вопрос, во-вторых, необходимость подавления сильных сепаратистских тенденций.

Впервые термин «политический контроль» появляется в конце 1920-х гг.: «...отдельные случаи не дают оснований для пересмотра ленинской политики использования буржуазных специалистов для социалистического строительства. В то же время не должно быть безграничного доверия к людям чуждым по классу и по идеологии. Здоровый деловой политический контроль должен быть необходимым условием, гарантирующим от возможного сознательного и бессознательного вредительства» [1]. Политический контроль как целена-

правленное влияние государства на все сферы общественной жизни и личную жизнь граждан является неотъемлемой характеристикой любого государства – важен вопрос о его методах, формах и масштабах.

Система политического контроля представляет собой совокупность его элементов, форм и методов, определяемых и контролируемых государством с целью воздействия на массовое сознание и контроля за поведением индивида на предмет соответствия идеологическим канонам.

В результате революции 1917 г. изменился характер власти, и она сосредоточилась преимущественно в руках одной партии. Практически сразу же стали формироваться или получили новое содержание основные элементы (институты) системы политического контроля: цензура, средства массовой информации, образование, пропаганда и агитация, культура и искусство.

Государство не могло существовать без информационной диктатуры, важнейшей частью которой являлась цензура.

Уже 6 ноября 1917 г. в своем выступлении на заседании ВЦИК по вопросу об арестованных и о свободе печати Сталин предложил принять резолюцию, в которой говорилось: «...освобождение всех без исключения арестованных по политическим делам и свобода печати (всей печати) – эти условия неприемлемы» [2]. Главной задачей всей информационной диктатуры, и цензуры в частности, было лишение граждан возможности соотносить официальные мифы и реальность. Советские граждане не имели возможности знать о реальном состоянии дел в мире. 31 декабря 1919 г. был рассмотрен проект постановления ЦК о цензуре материалов на внешнеполитические темы, в котором, в частности, говорилось: «На главных редакторов каждой газеты и на ответственного редактора «Роста» возлагается обязанность цензурирования всего, касающегося внешней политики, кроме материалов Инострота и Радио-Вестника, подлежащих цензуре НКВД. Наиболее строгою должна быть цензура речей известных советских деятелей и передовиц. ...Редактора газет и ответственный редактор «Роста», если желают, могут присылать материалы на просмотр НКВД, и в таком случае с них снимается ответственность за цензурирование» [3].

В начале 1923 г. для объединения всех видов цензуры печатных произведений было учреждено Главное Управление по делам литературы и издательства (Главлит) при Наркомпросе и его местные органы при губернских отделах народного образования. На Главлит и его местные органы возлагались: «предварительный просмотр всех предназначенных к опубликованию или распространению произведений, выдача разрешений на право издания отдельных произведений, а равно органов печати... составление списков, произведений печати, запрещенных к продаже и распространению, издание правил, распоряжений и инструкций по делам печати, обязательных для всех органов печати, типографий, библиотек и книжных магазинов». Специально оговаривалось, что «Главное Управление по делам литературы и издательства и его органы воспрещают издание и распространение произведений: содержащих агитацию против советской власти; разглашающих военные тайны республики; возбуждающих общественное мнение путем сообщения ложных сведений; носящих порнографический характер». Одновременно «издания Коминтерна, ЦК РКП(б), Губкома РКП/б и вся вообще партийная коммунистическая печать... освобождаются от цензуры» [4].

Постоянной темой для обсуждений и принятия соответствующих решений Политбюро был вопрос о цензуре информации на внешнеполитические темы. 16 октября 1919 г. Чичерин писал Ленину о цензуре: «Мне и тов. Карахану брать на себя всю цензуру нет физической возможности, а компетентных цензоров мы не имеем. Сами ответственные редактора несомненно компетентнее тех лиц, которых можно было бы найти в качестве цензоров» [5]. 7 марта 1929 г. в постановлении Политбюро Кривницкому и Литвинову будет поручено «...принять решительные меры для согласования с НКВД публикуемых в газетах и журналах статей, заметок, карикатур и т.п., касающихся личного состава дипломатического корпуса» [6].

Другим определяющим элементом информационной диктатуры являлись средства массовой информации, которые в изучаемый период рассматривались исключительно как выразители официальной идеологии. В XX в. благодаря научно-техническому прогрессу широкие слои населения получили доступ к информации, стали возможными ее передача на значительные расстояния и массовое тиражирование. Информационная функция, которую выполняют средства массовой информации, становится отнюдь не приоритетной. Первоочередное значение приобретает способность средств массовой информации влиять на сознание масс, внедряя определенные идеи, мифы, установки и ценности. Пресса становится эффективным «орудием борьбы за лучшее будущее» [7]. Наиболее распространенными СМИ в период становления советской системы политического контроля были радио и печать, первоочередной задачей которой было обеспечение охвата максимально широких слоев населения средствами массовой информации, ведь «сила большевистской печати заключается, прежде всего, в ее массовости» [8]. Вопросы распространения, а также увеличения тиражей попадали под контроль партийных органов. Для каждого района спускались контрольные цифры распространения газет и журналов. Местные партийные организации обязаны были пристально следить за распространением как центральных, так и местных изданий. 25 августа 1928 г. редакция газеты «Правда» обратилась ко всем обкомам, губкомам, окружкомам, укомам и райкомам ВКП(б) со следующим призывом: «Все парторганизации должны сейчас помогать печати больше, чем они это делали до сих пор. В частности, парторганизации должны уделить больше внимания центральному органу нашей партии «Правде» [9].

Воздействие пропаганды многократно усиливалось путем навязчивого повторения. Одни и те же материалы последовательно дублировались центральной, областной и районной печатью. Тот факт, что с помощью многократного повторения в прессе удавалось добиться внедрения необходимых власти идей и установок, в принципе, никогда не скрывался. Еще в 1923 г. «Правда» писала: «В каждый данный момент наша пресса с особой яркостью выдвигает основные лозунги, узловые пункты, ударные точки и бьет в них настойчиво, упорно, систематически, – «надоедливо», – как говорят наши враги. Да, наши книжки, газеты, листовки «вбивают» в головы массы немногие, но основные, «узловые» формулы и лозунги» [10]. Этот метод продемонстрировал свою высокую эффективность. Посетивший в 1936 г. Советский Союз Андре Жид отметил: «Когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то, чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может» [11].

Однако, несмотря на все усилия советской пропаганды, несоответствие между откровенно пропагандистским содержанием значительного большинства публикаций и реальной жизнью вызывали сомнения в достоверности информации. Кроме того, прослеживалась и неудовлетворенность качеством печатной продукции. «Господи, как бездарна и лжива пресса», – писал В. И. Вернадский в своем дневнике [12].

Студент Пензенского лесотехнического техникума Баранов заявлял, что «печатать есть одна лишь ложь, в ней правды не пишут» [13].

Успешное функционирование системы политического контроля невозможно без образования и воспитания, которые были наполнены соответствующим идеологическим содержанием. Основной задачей «всего социалистического переворота» В. И. Ленин считал воспитание масс [14] и говорил о том, что школа не может находиться «вне политики». Школа должна быть «связана органически со всей борьбой и со всеми процессами строительства нового коммунистического общества» [15]. Развитие системы народного образования было признано советской властью одним из приоритетных направлений. Важнейшими мероприятиями, по словам А. С. Бубнова, должны были стать «всеобщее обязательное начальное обучение, ликвидация неграмотности и малограмотности и массовая организация дошкольного воспитания» [16]. Результатом государственной политики, проводимой в сфере народного образования, стало появление в стране широкой сети воспитательных и образовательных учреждений, от дошкольных до высших учебных заведений, а также кружков ликбеза с предельно идеологизированной системой образования. Уже в годы первой пятилетки в Средневолжском крае количество учебных заведений выросло до 17 вузов и втузов, в которых обучалось 7 тыс. студентов, насчитывалось 142 техникума с 43 тыс. учащихся [17]. Только на территории Пензенской области, образованной в 1939 г., число общеобразовательных школ всех видов увеличилось с 1635 в 1914–1915 гг. до 1856 к началу войны [18]. Это позволяло власти, осуществляя политический контроль, непосредственно участвовать в процессе формирования личности. Всеобщая, пусть и элементарная, грамотность должна была обеспечить охват максимально широких слоев населения процессом политического контроля, поскольку обеспечивала для них доступ к информации, основным носителем которой являлась печатная продукция.

Советская система народного образования как один из основных институтов политического контроля была безальтернативна. Благодаря этому стало возможным формирование единообразия восприятия, отсутствие критического мышления и инакомыслия, навязывание определенных моделей поведения. Действительно, к 1930-м гг. была осуществлена частичная подмена образования политическим воспитанием. В советской школе «исключительно важное значение приобретает выдержанное коммунистическое воспитание» [19]. Газета «Правда», отмечая особую важность этого направления в работе советской школы, подчеркивала, что «коммунистическая прививка в детстве даст прочную зарядку на всю жизнь» [20]. Именно политико-воспитательная работа в среде учащейся молодежи «должна сыграть громадную роль для укрепления и развития кадров, которые будут строить бесклассовое социалистическое общество» [21]. По мнению М. Горького, «в нашей стране воспитывать – значит революционизировать» [22].

Недопустимым явлением считался отход от установленной программы, любое проявление инакомыслия. Особенно это относилось к общественным дисциплинам. Здесь от преподавателей требовалось особо строгое следование программам. В Кооперативном техникуме в 1933 г. «в процессе преподавания истории ВКП(б)» были выявлены «грубые отклонения от программы и протаскивание троцкистской контрабанды. Преподаватель истории ВКП(б)... старается смазать сущность большевизма, дать историю партии в извращенном виде» [23].

Другим важнейшим элементом системы политического контроля были пропаганда и агитация.

Была создана сеть начального политпросвещения. К началу 1930-х гг., например, в Пензе было организовано 59 школ политграмоты сокращенного типа [24]. В 1939 г. в Пензенской области было 1200 кружков по изучению марксизма-ленинизма [25].

Государство держало огромный штат специалистов, постоянно перебрасывая их с места на место, реорганизуя отделы, отвечавшие за идеологию. Вначале центрами руководства идеологической работой были агитотделы обкомов, горкомов, райкомов партии, непосредственно руководимые Агитпропом ЦК ВКП(б). В январе 1930 г. в ЦК были созданы отдел культуры и пропаганды – культпроп и отдел агитации и массовых кампаний. Соответственно, культпропы были созданы в обкомах, горкомах, райкомах.

В 1934 г. по указанию ЦК были реорганизованы культпропы в крайкомах и обкомах партии. Вместо шести секторов создавались инструкторские группы в соответствии с основными отраслями работы – народного образования, партийного просвещения, печати, здравоохранения [26]. Каждый инструктор был прикреплен к определенным районам и проводил в них работу по своей отрасли. В помощь инструкторам был учрежден институт внештатных инструкторов.

Уже в 1935 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) «О пропагандистской работе в ближайшее время» [27] в средневожских обкомах партии вместо культпропа были созданы три отдела: партийной пропаганды, агитации и печати; школ и вузов; культпросветработы. После постановления ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» единые отделы пропаганды и агитации были созданы во всех горкомах и райкомах партии и комсомола Поволжья. Ведь в постановлении говорилось, что основным недостатком партийной пропаганды является отсутствие необходимой централизации руководства ею. «Одной из основных причин раздувания кружковой работы и устной пропаганды вообще, в ущерб пропаганде через печать, явился вредный разрыв в организации печатной и устной пропаганды, нашедшей свое выражение в раздельном существовании отделов пропаганды и отделов печати». В райкомах выделялись специальные организаторы групп агитации. Для подготовки индивидуальных агитаторов создавались комиссии по использованию отпусков из работников аппарата райкома, общества «Культсмычка», профорганов на предприятиях Поволжья: из рабочих-отпускников, проводивших свой отпуск в деревне, готовили индивидуальных агитаторов.

После постановления ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» на

постоянную работу в деревни только Среднего Поволжья было направлено 520 «политически грамотных и опытных работников» [28]. Кроме того, по решению президиума ВЦИК в том же году из членов районных и городских советов – рабочих Москвы и Московской области на постоянную работу в тот же регион было командировано еще 1000 человек. Правда, уровень самих пропагандистов зачастую был весьма низок.

С зимы 1932 г. в Среднем Поволжье стали создаваться по типу института Красной профессуры, появившегося в 1931 г., институты марксизма-ленинизма, которые должны были стать «партийной школой по подготовке теоретических кадров» [29]. Слушатели этих институтов были своеобразной «ударной силой» при проведении всевозможных политических кампаний, отражающих социально-конфронтационную направленность в деятельности властей – «в борьбе против буржуазии и меньшевистско-эсеровской теории; и против группы матерых буржуазных историков, стремившихся сохранить на советской почве милоковско-платоновскую историографию; и против бухаринских теорий в политэкономии; и против меньшевистствующего идеализма и механистов в философии. Они неустанно разоблачали и изгоняли из своей среды гнилые антипартийные элементы, всяких троцкистов и правооппортунистических выродков». [30]. Это видно из материалов периодических проверок состояния пропагандистских кадров и постановлений ЦК по работе с кадрами. Кадры идеологических работников подвергались постоянной «перетряске»: «В Куйбышевской организации проверка выявила по г. Ульяновску значительную часть курсантов по пропагандистской работе – непригодных для пропработы» [31].

В сеть партийного просвещения вовлекались не только коммунисты, но и беспартийные. Так, в Пензенском районе в 1931 г. марксизм-ленинизм изучали 1553 беспартийных, в 1933 г. – в полтора раза больше [32]. Сеть партийного просвещения росла с каждым годом: например, в 1928–1929 гг. в Пензенском округе работало 89 партшкол и кружков в городе, в деревне – 178; в следующем году – соответственно, 135 и 190 [33].

Культура и искусство также представляли собой немаловажные элементы системы политического контроля.

Еще в 1904 г. появилась работа А. В. Луначарского «Основы позитивной эстетики», которую с полным основанием можно считать первым и наиболее честным наброском «ведущего метода социалистической культуры». А в следующем году появляется работа В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», которая стала основой всей культурной политики в Советской России.

Культуру большевики изначально рассматривали как один из институтов политического контроля. Так, Ленин считал, что «главное предназначение искусства – в развитии лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения мировоззрения марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху диктатуры» [30].

Некоторые постулаты эстетики соцреализма были заложены еще Л. Троцким, начавшим советскую традицию подхода к художественным явлениям не с эстетической, а с политической точки зрения [34]. В этой концепции классовое всегда превалирует над общечеловеческим и индивидуальным, а художественное сознание есть разновидность политического. В середине 1920-х гг. прошел ряд дискуссий, и были приняты решения, определяющие отношение власти к искусству. В мае 1924 г. были одобрены резо-

люции Отдела печати ЦК и XIII съезда партии. 18 июня 1925 г. – резолюция ЦК «О партийной политике в области художественной литературы». В ней провозглашалось, что «партия в целом отнюдь не может связать себя приверженностью к какому-либо направлению в области литературной формы». ЦК высказывался «за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области» [35].

Однако, осудив пролетарских писателей за их высокомерие, бестактность, нетерпимость, власть, в итоге, встала на их сторону, отвергая принцип невмешательства в искусство. В том же 1925 г. на встрече с советской интеллигенцией Н. Бухарин откровенно заявил: «Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их как на фабрике» [36].

А. И. Назаров, председатель Комитета по делам искусства при СНК СССР, говорил: «В условиях советского социалистического строя искусство впервые за всю его многовековую историю стало объектом государственного строительства и государственной политики» [37].

Партийное, коллективное, руководство искусством осуществлялось и в 1920-х гг. Так, во второй половине 1920-х гг. появилась новая форма этого руководства – театральные художественно-политические советы (ХПС). В их состав вошли представители партийных и комсомольских органов. В 1928 г. при Агитпропе ЦК ВКП(б) состоялось совещание членов ХПС, где было сказано, что ХПС должны стать органами контроля и обязаны отвечать за политическую линию, за политическое содержание театра [38].

Единый метод, провозглашенный властью, назывался социалистическим, но это, скорее, относилось не к искусству, а к пропаганде – «никто ведь не может отличить социалистически изваянную ногу от империалистически изваянной ноги» [39]. Официально название метода было утверждено постановлением ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1932 г. – «О перестройке литературно-художественных организаций»: «Социалистический реализм требует от художника правдивого изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся в духе социализма» [40].

Большевики всегда считали культуру и образование «третьим фронтом», отдавая приоритет политике и экономике, а потом выделяя ассигнования на образование. Обвинять их в этом нельзя – подобная политика объясняется в основном объективными причинами, но, несмотря на то, что, на первый взгляд, культура была на периферии интересов власти, основное внимание уделяла экономике и «классовой борьбе», тем не менее, партия весьма внимательно следила за культурной жизнью и использовала в целях политического контроля.

Произошла аппаратизация культуры – аппарат руководил тем, какие идеи должны продуцироваться, а какие не должны, и, наконец, власти довели до конца борьбу со всеми стилями и тенденциями в искусстве, объявляя их реакционными [41].

Монополия воспитания и пропаганды в тоталитарном государстве предполагает, что и культура становится средством политического контроля.

Таким образом, с первых дней существования советской власти начала складываться система политического контроля, основными элементами которой были цензура, СМИ, институты образования и культуры, искусство.

Список литературы

1. СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 125. Л. 16.
2. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 937. Л. 6.
3. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 24. Л. 4, 4 об.
4. ГАПО. Ф.р.-2. Оп. 1. Д. 1583. Л. 33–34.
5. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 313. Л. 3, 3 об.
6. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 772. Л. 13.
7. Под знаменем ленинизма. – 1927. – № 18. – С. 5.
8. Сталинское знамя. – 1939. – 5 мая.
9. ГАПО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 160. Л. 64.
10. **Щербинин, А. И.** «С картинки в твоём букваре», или Аз, Веди, Глагол, Мыслите и Живете тоталитарной индоктринации / А. И. Щербинин // Полис. – 1999. – № 1. – С. 134.
11. **Жид, А.** Возвращение из СССР / А. Жид // Два взгляда из-за рубежа. – М. : Политиздат, 1990. – С. 78.
12. **Вернадский, В. И.** Дневник 1938 года / В. И. Вернадский // Дружба народов. – № 3. – С. 244.
13. ГАПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 510. Л. 85.
14. Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 31. – С. 340.
15. Социалистический штурм. – 1933. – 26 января.
16. Известия. – 1933. – 3 февраля.
17. Коммунист. – 1932. – № 1–2. – С. 19–22.
18. Пензенская область в цифрах и фактах. – Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1977. – С. 124.
19. КПСС в резолюциях... Т. 5. – С. 357.
20. Правда. – 1936. – 7 апреля.
21. Большевик. – 1935. – № 12. – С. 57.
22. **Горький, М.** Собр. соч. : в 30 т. / М. Горький. – М., 1953. – Т. 27. – С. 97.
23. ГАПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 384. Л. 10–11.
24. ГАПО. Ф. 1381. Оп. 1. Д. 11. Л. 17.
25. ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 580. Л. 3–4.
26. ГАПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 349. Л. 59.
27. О пропагандистской работе в ближайшее время // Правда. – 1935. – 14 июня.
28. Отчет Средне-Волжского крайкома второй партийной конференции. – Самара, 1930. – С. 187.
29. Институты марксизма-ленинизма // Красный библиотекарь. – 1932. – № 4. – С. 12.
30. **Стецкий, А. И.** Об институтах красной профессуры / А. И. Стецкий // Большевик. – 1935. – № 23–24. – С. 54.
31. Неграмотные пропагандисты // Большевик. – 1935. – № 3. – С. 4.
32. Справочник к отчетному докладу горкома ВКП(б) на VI Пензенской городской партконференции. – Пенза, 1934. – С. 9.
33. Материалы к отчету окружного комитета и окружной контрольной комиссии ВКП(б) II окружной партконференции. – Пенза, 1930. – С. 19.
34. **Троцкий, Л. Д.** Литература и революция / Л. Д. Троцкий. – М., 1991.
35. О партийной и советской печати : сборник документов. – М., 1954. – С. 346.
36. **Бухарин, Н. И.** Судьбы современной интеллигенции / Н. И. Бухарин. – М., 1925. – С. 27.
37. Советская культура : сборник речей и выступлений советских и партийных деятелей. – М., 1939. – С. 78.

38. Театральные художественно-политические советы // Коммунистическая революция. – 1928. – № 23–24. – С. 133.
39. **Олеша, Ю.** Тема интеллигента / Ю. Олеша // Стройка. – 1930. – № 3. – С. 43.
40. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. – М., 1990. – С. 272.
41. **Эренбург, И.** Люди. Годы. Жизнь / И. Эренбург. – М., 1990. – Т. 3.

ОТ РЕВОЛЮЦИИ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ: ПАРАДОКСЫ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

Статья посвящена анализу интерпретаций проблемы перехода к гражданской войне. Рассмотрены различные аспекты политического процесса в революционной России на основе достаточно широкого круга источников. Отмечены противоречивые тенденции в ряде исследований последних лет.

Проблематика гражданских войн имеет обыкновение периодически актуализироваться в связи с современной политикой. Характерный пример – ситуация в российской историографии последние 10–15 лет.

В прошлом официальная советская историография намеренно отделяла «Великий Октябрь» от «защиты его завоеваний» своего рода китайской стеной, не допускающей рассмотрения произошедшего как системного кризиса империи [1, с. 343–345; 2]. Увы, дурная традиция стала ломаться не менее нелепым образом. Если раньше гражданскую войну, «развязанную контрреволюцией и международным империализмом», отодвигали к лету 1918 г., то теперь те же авторы перемещают ее начало к февралю 1917 г. – так поновому пытаются «снять вину» с большевиков. Похоже, что исследователи боятся признать, что творцы Октября, провозгласив курс на мировую революцию, на деле развязали внутринациональную гражданскую войну.

Сторонники такого подхода, вероятно, были удивлены, что они сближаются с рассуждениями А. И. Солженицына о Февральской революции [3] – нобелевский лауреат считает, что падение самодержавия предрешило ее возникновение. Получилось, что иные прокоммунистические авторы в своих рассуждениях о происхождении гражданской войны стыкуются с современными радикал-патриотами и квазимонархистами¹. Так или иначе все современные рассуждения о революции и гражданской войне связываются с текущей политикой. Демолитизации и деидеологизации этих исторических проблем так и не произошло.

За последние 10–15 лет о гражданской войне было написано довольно много, появилось немало и специальных историографических работ. Но составить представление о механизмах перерастания революции в открытое вооруженное противостояние революции и контрреволюции на их основе практически невозможно. Сказываются и застарелые пороки – историографы стараются «никого не обидеть», не забыв упомянуть при этом «корифеев» и «актуальную проблематику» [6, 7]. Но заметна и методологическая робость и растерянность. Исследователи, способные на отстаивание собственной позиции, встречаются все реже [8]. Как результат, по вопросам происхождения гражданской войны, скорее, возникают новые вопросы, нежели находят ответы на них [9].

¹ В этом смысле примечательна реакция А. Проханова на статью Солженицына [4] Впрочем, некоторые исследователи еще в 1993 г. писали, что послефевральские обличения царского режима обернулись против либералов, павших в результате ими же спровоцированной радикализации общества [5].

Вопрос о соотношении революции и гражданской войны еще более запутался в связи с безоглядной апологетикой белых¹. Отдельные авторы даже уверяют, что «вся гражданская война – это противостояние между Февралем и Октябрем» [11] (не подозревая, что за такие сравнения белогвардейцы поставили бы их к стенке). С другой стороны, заметно стремление выводить террористические реалии Октября, а затем и всей сталинской системы из марксистской доктрины [12] – таков еще один способ «спрямления» сложностей исторического процесса.

Приходится признать, что большинство авторов пишет о гражданской войне, не задумываясь, чем она была обусловлена и с чего началась.

С формальной точки зрения, начало гражданской войны резоннее всего связать с готовностью одной части общества подчинить другую часть общества вне закона от лица государства – именно это произошло 25 октября 1917 г. К сожалению, в современной историографии об этом практически не задумываются. Не учитывается и то, что в ходе разрушения империи ход военного противоборства приобретает особо сложную конфигурацию. Увы, в пугающих и изменчивых ликах гражданской войны каждый склонен улавливать лишь «понятное» ему самому.

Конечно, гражданская война – это не просто военные действия внутри страны, а особое «расколотое» состояние общества. Когда же и в связи с чем социальный конфликт принимает необратимый характер открытого силового противостояния? В России это произошло одновременно с захватом власти большевиками. Другое дело, что серьезный отпор они встретили далеко не сразу.

Безусловно, к числу одного из первых, но не единственных, проявлений гражданской войны следует отнести так называемый мятеж Керенского–Краснова. Характерно, что попытки примирить враждующие стороны, принятые Центральным исполнительным комитетом Всероссийского железнодорожного союза, дали обратный эффект. 25 октября Викжель принял решение о приостановке движения казачьих войск на Петроград и выделил для контактов с большевистским ВРК особое бюро из пяти человек [13, с. 401–402]. Вместе с тем Викжель невольно помог большевикам, не допустив передачи по железнодорожному телеграфу обращения Временного правительства к населению [14]. Руководители железнодорожников рассчитывали предотвратить гражданскую войну путем создания коалиционного «однородного» социалистического правительства [13, с. 402–403; 15, с. 21–22]. Эти примиренческие шаги В. И. Ленин оценил как пособничество вооруженной контрреволюции (в ряде случаев Викжель действительно помешал продвижению большевистских отрядов). Одновременно Викжеля возненавидели и справа.

Стремление помирить всех социалистов – фактически на основании чисто внешней политической маркировки – было заведомо нереальным. Правые социалисты требовали, чтобы большевики не оказывали сопротивления войскам Керенского, добивались подчинения петроградского гарнизона «буржуазному» городскому самоуправлению и роспуска ВРК [16]. Большевики выдвигали прямо противоположные условия: подчинение всех социалистов большевизированному ВЦИК Советов. Как результат – позицию Викжеля Керенский

¹ Некоторые авторы заявляют, что поскольку генерал М. В. Алексеев прибыл в Новочеркасск 2 ноября 1917 г. и это было отмечено особой медалью, выпущенной через 50 лет в Париже, то с этой даты и следует вести начало гражданской войны [10].

воспринял как «предательство» [15, с. 42], В. И. Ленин со своей стороны уверял, что Викжель «стоит на стороне Калединых и Корниловых» [17, с. 43].

Руководители большевиков изображали готовность к переговорам с правыми социалистами, а тем временем большевизированные солдаты жестоко расправлялись со всякими попытками сопротивления в столице. Газеты сообщали, что на Преображенском еврейском кладбище было предано земле до 50 жертв большевистского переворота, среди них было 36 юнкеров, убитых при «разоружении» Владимирского военного училища – тела некоторых из них, как сообщалось, были «страшно обезображены»¹ [18]. Большевики, точнее разъяренные массы, вставшие под их знамена, фактически уже вели гражданскую войну под видом «подавления контрреволюции».

К числу послеоктябрьских акций гражданской войны можно отнести и события в Москве. Здесь, в отличие от Петрограда, лидеры противоборствующих сил всерьез пытались решить дело миром, что еще более запутало и обострило ситуацию.

Сразу же после известия о низложении Временного правительства солдаты московского гарнизона захватили почтамт и телеграф. После этого на совещании бюро всех фракций Советов в присутствии командующего Московским военным округом К. И. Рябцева было решено создать из представителей городского и земского самоуправлений, Советов, штаба округа, железнодорожного и почтово-телеграфного союзов временный орган для «охраны революционного порядка». Большевики согласились. Камнем преткновения, однако, стал вопрос о том, под эгидой какой организации произойдет создание этого органа. Рябцев готов был уступить первенство в этом деле Советам, но под влиянием угроз справа согласился на то, что «силы демократии» должна возглавить городская Дума [20]. В результате этого шага он едва не стал жертвой насилия сперва со стороны солдат (спасли его лидеры московских большевиков) [21, 22], а затем – офицеров и юнкеров [23]. Любые попытки примирения противники рассматривали как военную помощь «врагу».

В конечном счете, пятидневные бои в Москве все же удалось прекратить, но убитых хоронили отдельно – большевиков у кремлевской стены под революционные гимны – торжественно и, как отмечали очевидцы, с «каким-то мстительным настроением»; юнкеров, студентов, сестер милосердия – на Братском кладбище по православному обряду [24, с. 110].

А тем временем на Юге России уже разворачивались активные военные действия [25]. Большевики объявили Украинскую Центральную Раду контрреволюционной за то, что она пропускает на Дон казачьи части. 3 декабря Совнарком предложил Раде либо отказаться от такой политики, либо считать себя в состоянии войны против Советской власти [17, с. 143, 145]. Время для такого заявления было выбрано не случайно – в этот день готовилось открытие Всеукраинского съезда Советов. Однако здесь большевики оказались в ничтожном меньшинстве. Выступая на съезде Советов 5 декабря, С. В. Петлюра пугал присутствующих: «На нас готовился поход!.. Большевики концентрируют свое войско для разгрома Украинской республики... Первые эшелоны из Гомеля подходят к Бахмачу...» [26]. Большевиков в это вре-

¹ Джон Рид писал, что они были переколоты штыками после отчаянного вооруженного сопротивления, а несколько пленных юнкеров было растерзано толпой по дороге в Петропавловскую крепость [19].

мя беспокоили не украинские националисты, а донская «контрреволюция». И когда верные Центральной раде войска отказались пропустить через Бахмач несколько большевистских полков, война с украинской «националистической контрреволюцией» сделалась неизбежной.

Между тем, стоявшие во главе Рады украинские социалисты поначалу также больше опасались донской «контрреволюции», а потому согласились пропустить возвращавшихся с фронта казаков на родину. При этом Донскому правительству была направлена нота протеста по поводу террора казаков против украинского населения [27]. В общем, и украинские политики, и казаки надеялись, прежде всего, отгородиться от «русской» смуты, однако большевики окончательно уверились в «контрреволюционности» и тех, и других.

На начальном этапе война носила вялый характер. Солдаты – а основную вооруженную массу представляли именно они – попросту устали от кровопролития. Однако большевистские лидеры, рассчитывающие на мировую революцию, а равно и численно незначительная часть всевозможных маргиналов, анархистов и просто бандитствующих элементов вольно или невольно толкали народ к масштабному военному противостоянию.

Западные авторы склонны связывать начало гражданской войны в России с разгоном большевиками Учредительного собрания [28]. Большевики, между тем, заранее принялись дискредитировать его как помеху «истине народной» власти в лице Советов. Накануне его открытия они заявили, что намерены рассматривать любую попытку «со стороны какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти... как контрреволюционное действие» и подавлять ее всеми средствами, «вплоть до применения вооруженной силы» [29]. По некоторым (не очень убедительным) сведениям, часть офицерства действительно намеревалась прибыть на открытие Учредительного собрания с припрятанным оружием [30]. Офицеров, недовольных Советской властью, хватало везде, но к этому времени на территориях, контролируемых большевиками, никто не был готов выступить против них с оружием в руках – это грозило бессудной расправой со стороны солдат. В день открытия Учредительного собрания большевики, тем не менее, объявили, что против них объединятся все силы контрреволюции, руководимые Савинковым, Керенским и даже, якобы, специально прибывшим с Дона Калединым [31]. Вооруженный расстрел демонстрации в защиту Учредительного собрания был предрешен [1, с. 199–201].

В известном смысле на кровавый исход борьбы за Учредительное собрание повлияли события на юге России. Еще 27 декабря 1917 г. появилась декларация Штаба Добровольческой армии, где идея Учредительного собрания поддерживалась. Автором декларации был Б. В. Савинков, ее текст редактировался П. Н. Милуковым, чья искренность в отстаивании этой идеи выглядит сомнительной. А что касается лидеров Добровольческой армии, то они, безусловно, были против Учредительного собрания «образца 1917 г.» [32, 33]. Как бы то ни было, большевики лишний раз уверились, что вокруг Учредительного собрания группируется «вся контрреволюция», что еще больше озлобило их.

Актом, активизирующим гражданскую войну, можно считать и события в Москве 9 января 1918 г. Большевики задумали провести 9 января (в день Кровавого воскресения) на Лубянской площади демонстрацию под лозунгом «За власть Советов!». Раздались выстрелы, милиционеры и красногвардейцы

запаниковали и открыли ответный огонь, перепуганные демонстранты – по официальным данным 200 тыс. (что, скорее всего, преувеличено) – в страхе разбежались. Убитых и раненых власти насчитали «не более» 30 человек. Местные большевики тут же объявили, что «уцелевшие остатки белой гвардии и контрреволюционного офицерства» расстреляли шествие рабочих и солдат с крыш домов. Отсюда следовал вывод: вести гражданскую войну так, чтобы «отбить у буржуазии всякую возможность нападать на рабочий класс» [24, с. 131, 133, 134].

Гражданская война в разваливающейся империи не случайно стала разрастаться в связи с национальным вопросом. Так, польские войска старались держаться в стороне от «русской» гражданской войны. 31 октября 1917 г. в воззвании Главного военного польского комитета было заявлено, что «свободе угрожает братоубийственная война», в которой ни «один поляк не должен принимать участия». Однако дислоцированный в Белгороде польский запасной полк (17 тыс. солдат) не смог удержать нейтралитет. Совместно с большевиками выступил против корниловцев, пробирающихся на Дон [34]. В эсеровской газете даже появилось сообщение, что «поляки присоединились к большевизму» [35]. Однако большевики вскоре разоружили полк из-за нежелания его солдат выступить против Каледина, вслед за тем в Москве был арестован главный комитет польских войск [36]. Осталось разоружить корпус Довбор–Мусницкого. По некоторым сведениям, в декабре большевики начали готовить переброску латышских стрелков в район дислокации корпуса, из местного населения формировалась красная гвардия, призванная защитить крестьян, страдающих от бесчинств легионеров [37]. Возник еще один очаг гражданской войны.

Сформированное в Харькове большевистское правительство 4 января официально объявило войну Центральной Раде. В ответ в ночь с 4 на 5 января киевские украинские власти разоружили красногвардейцев завода «Арсенал» и ряда других предприятий. Тем временем с севера на Украину двинулись московские большевики. В конце января большевистские войска начали массивный артиллерийский обстрел Киева. Помимо войск Центральной Рады город защищали юнкера, студенты и офицеры. В ночь с 25 на 26 января украинское правительство оставило Киев, а 31 января в Бресте на переговорах с германским командованием делегация Украинской народной республики попросила военной помощи против большевиков. Австро-германская сторона тут же ответила согласием. Большевики тем временем устроили в Киеве жуткую резню, от которой больше всего пострадали офицеры.

Очаги вооруженного противостояния возникали повсеместно. В конце ноября в Грозном чеченцы произвели массовый налет на Новые промыслы и подожгли их, при этом были убитые и ограбленные среди русских рабочих. Городу был поставлен ультиматум: вывести из него русские войска и сдать власть Чеченскому комитету. Нападением также подверглись Владикавказ и Петровск [38].

О том, что гражданская война фактически началась 25 октября 1917 г. в завуалированной форме писалось еще в советское время в 1970-е гг. Но тогда подобная точка зрения вызывала жесткое неприятие догматиков, стремящихся, с одной стороны, связать гражданскую войну с мифическими «походами Антанты», с другой – настаивающих на непременно «классовой» маркировке контрреволюции того времени.

В конце 80-х – начале 90-х гг. среди ряда советских историков состоялась договоренность относительно «равной ответственности всех участников

Гражданской войны за проводимый тогда террор и убийства мирных жителей» – тогда это был шаг по отходу от официальной концепции. Ныне некоторые авторы по этой же заведомо негодной схеме утверждают: за развязывание гражданской войны ответственны «все» [39].

Ранее существовал обычай представлять большевиков «миролюбивой» жертвой международного империализма. Примерно по этой же схеме в некоторых современных работах белогвардейцы объявляются носителями всех мыслимых демократически-патриотических добродетелей [40]. На деле значительная часть рядовых добровольцев еще в 1917 г. готова была перевешать не только большевиков, но и всех социалистов вообще.

Гражданская война теперь исследуется почти исключительно со стороны противников большевизма. Историографы, пытающиеся вернуться к изучению войны, ведущейся большевиками, констатируют, что особых достижений на этом направлении незаметно [41]. Но главное упущение даже не в этом. Один из исследователей поставил такой диагноз современному состоянию изучения гражданской войны: «...Историки предпочитают уступать эту честь дилетантам, ну а они-то, как известно, стесняться не привыкли» [42]. Действительно, все слабости и даже пороки современной российской историографии связаны с общим падением исследовательской культуры.

Список литературы

1. **Булдаков, В. П.** Красная смута: Природа и последствия революционного насилия / В. П. Булдаков. – М., 1997.
2. **Булдаков, В. П.** Системные кризисы в России: сравнительное исследование массовой психологии 1904–1921 и 1985–2002 годов / В. П. Булдаков // Acta Slavica Iaropisca. – 2005. – Т. XXII. – С. 98–101.
3. **Солженицын, А. И.** Размышления о Февральской революции / А. И. Солженицын // Российская газета. – 2007. – 27 февраля.
4. Российская газета. – 2007. – 28 февраля.
5. **Сенин, А. С.** Либералы у власти. История повторяется? / А. С. Сенин // Кентавр. – 1993. – № 2. – С. 112.
6. **Голдин, В. И.** Россия в гражданской войне: очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х – 90-е годы / В. И. Голдин. – Архангельск, 2000.
7. **Верещагин, А. С.** Историографические тенденции изучения гражданской войны на Урале и проблемы информативности источников / А. С. Верещагин // Россия в XX веке. Революции и реформы. – М., 2002. – Т. 1.
8. **Куренышев, А. А.** Крестьянство России в период войны и революции 1917–1920 гг. (историографические аспекты) / А. А. Куренышев // Вопросы истории. – 1999. – № 4–5.
9. **Михайлов, И. В.** Гражданская война в современной историографии: виден ли свет в конце туннеля? / И. В. Михайлов // Гражданская война в России: события, мнения, оценки. – М., 2002.
10. **Бордюгов, Г. А.** Белое дело: идеология, основы, режимы власти. Историографические очерки / Г. А. Бордюгов, А. И. Ушаков, В. Ю. Чураков. – М., 1998. – С. 206–207.
11. **Кулешов, С. В.** Историк О. В. Волобуев: штрихи к творческому портрету / С. В. Кулешов. – М., 2001. – С. 83.
12. **Леонов, С. В.** Рождение советской империи: Государство и идеология, 1917–1922 гг. / С. В. Леонов. – М., 1997.
13. Октябрьский переворот. Факты и документы. – Пг., 1918. – С. 401–402.
14. Власть народа. – 1917. – 27 октября.
15. **Вомпе, П.** Дни октябрьской революции и железнодорожники (материалы к изучению истории революционного движения на железных дорогах) / П. Вомпе. – М., 1924.

16. Правда. – 1917. – 31 октября.
17. Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 35. – С. 43.
18. Еврейская неделя. – 1917. – № 43–44. – 19 ноября. – С. 30, 36.
19. Рид, Д. Избранное / Д. Рид. – М., 1997. – Кн. 1. – С. 212–215.
20. Игнатов, Е. Н. Московский Совет в октябрьские дни / Е. Н. Игнатов // Октябрьское восстание в Москве. – М., 1922. – С. 21.
21. Пече, Я. Октябрь–ноябрь / Я. Пече, Н. Муралов // Москва в октябре 1917 г. – М., 1919. – С. 55.
22. Октябрьские дни в Москве и районах. – М., 1922. – С. 38.
23. Журавская, И. Л. Полковник К. И. Рябцев. Страницы биографии / И. Л. Журавская // Отечественная история. – 1997. – № 4. – С. 69.
24. Окунев, Н. П. Дневник москвича. 1917–1920 / Н. П. Окунев. – М., 1997. – Т. 1.
25. Венков, А. В. Антибольшевистское движение на Юге России на начальном этапе гражданской войны / А. В. Венков. – Ростов-на-Дону, 1995.
26. Савченко, В. А. Симон Петлюра / В. А. Савченко. – Харьков, 2004. – С. 107.
27. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – Київ, 1997. – С. 14–15.
28. Wade, R. A. The Russian Revolution, 1917 / R. A. Wade. – Cambridge (Mass), 2000. – P. 297–298.
29. Известия ВЦИК. – 1918. – 4 января.
30. Клементьев, В. Ф. В большевистской Москве / В. Ф. Клементьев. – М., 1998. – С. 274.
31. Известия ВЦИК. – 1918. – 5 января.
32. Лукомский, А. С. Воспоминания / А. С. Лукомский. – Берлин, 1922. – Т. 1. – С. 286.
33. Деникин, А. И. Очерки русской смуты / А. И. Деникин. – М., 1991. – Т. 2. – С. 199.
34. Папков, А. И. Реконструкция исторических событий как основа проектирования музейной экспозиции (польский запасной полк в Белгороде. 1917 г.) / А. И. Папков // Проблемы теории, истории и методики музейной работы (Музей – наследие – время) / Музейное дело : сборник научных трудов. – Вып. 27. – М., 2002. – С. 50–51.
35. Власть народа. – 1917. – 6 декабря.
36. Наш век. – 1917. – 29 декабря.
37. Лацис, Я. Я. Ликвидация контрреволюционного выступления польских легионеров в начале 1918 года / Я. Я. Лацис // Под красным знаменем Октября. – Минск, 1987. – С. 187–188.
38. Шляпников, А. Г. За хлебом и нефтью / А. Г. Шляпников // Вопросы истории. – 2002. – № 11. – С. 126.
39. Литвин, А. Л. Размышляя о Гражданской войне в России / А. Л. Литвин // Гражданская война в России. События, мнения, оценки. – М., 2002. – С. 325, 329.
40. Устинкин, С. В. Власть и общество в условиях Гражданской войны / С. В. Устинкин // Отечественная история. – 1998. – № 3. – С. 93.
41. Полторак, С. Н. О некоторых тенденциях в изучении гражданской войны в России и деятельности РККА в так называемый межвоенный период / С. Н. Полторак // Клио. – СПб., 1999. – № 2.
42. Федюк, В. П. Современные тенденции в изучении истории гражданской войны / В. П. Федюк // Гражданская война в России и на Русском Севере: проблемы истории и историографии. – Архангельск, 1999. – С. 35.

УДК 1(091)

В. П. Кошарный

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА РЕВОЛЮЦИИ (К 90-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В РОССИИ)

На основе широкого круга историко-философских источников в статье рассматриваются понятийно-теоретические основания религиозно-философской трактовки идеи революции в русской мысли начала XX в. Констатируется гуманистический пафос религиозной метафизики революции русских философов Серебряного века.

В осмыслении проблематики революции в русской мысли первой половины XX столетия можно выделить три основных уровня анализа: абстрактно-метафизический, философско-исторический и конкретно-социологический. Первый связан с рассмотрением сущности революции как формы радикального преобразования мира в ее космологических и онтологических основаниях. Второй предполагал рассмотрение проблемы революции в контексте всемирной и отечественной истории. Здесь анализировались причины социальных революций, наиболее существенные элементы ее механизма. Применительно к истории России наибольшее внимание привлекал вопрос о судьбах страны в пореволюционный период. На конкретно-социологическом уровне исследовались социально-политические аспекты революционных событий в России в 1905–1907 гг., а также в феврале и октябре 1917 г., процессы, происходившие в стране после победы большевиков. Все три уровня анализа явно или неявно присутствовали, хотя и в разной степени выражения, в большинстве публикаций русских религиозных мыслителей, в которых поднималась тема революции. Все три чрезвычайно важны для понимания сущности и специфики религиозно-философского истолкования революции. Но определяющее значение все же имеет подход, условно обозначенный выше как абстрактно-метафизический. К нему и обратимся, учитывая, что остальные два уровня могут быть предметом специального рассмотрения.

Как известно, главенствующей идеей христианского мировоззрения является идея Бога как сверхъестественного, трансцендентного начала, с которым возможно установление определенных отношений. Это сложное понятие, достаточно амфорное и многообразное, содержит также философские, гносеологические черты, стороны или функции. Оно, отмечает В. В. Соколов, часто «резюмировало проблему непознаваемости и познаваемости мира и человека», а в философско-онтологическом плане «выражает единство мира, универсума» [1, с. 45, 160]. Оно обладает «мистифицирующей» функцией, в силу которой Бог представляется загадочным существом, сводящим на нет познавательные усилия человека, но также и «интеллектуализирующей» функцией, призванной как-то закрепить результаты познавательной деятельности и поддержать его в стремлении добиться успехов на этом пути [1, с. 46].

Все происходящее в мире, согласно религиозным представлениям о реальном существовании сверхъестественного, рассматривается и оценивается с особой точки зрения, придающей истории и человеческой жизни особый смысл за счет соотнесения их с чем-то непреходящим и абсолютным, возвышающимся над конечными и временными обстоятельствами жизни. В религиозной философии этот способ восприятия мира воплощается в принципе супранатурализма, который конкретизируется в других принципах религиозно-философского теоретизирования, таких как сотериологизм – ориентирующий всю человеческую жизнедеятельность на «спасение души», ревелиационизм, или принцип богооткровенности, – предполагающий на основе признания трансцендентной и непостижимой природы Бога, конечности и греховности человека существование некой «тайны», знание которой необходимо для спасения и которая дается как акт божественного самораскрытия через пророков и апостолов, а также путем непосредственного вхождения Бога в человека через мистическую интуицию.

Теоцентристская установка, характерная для христианского мировоззрения в целом, раскрывается в философии разными путями. В онтологии – через принцип креационизма; в антропологии – через принцип антропологизма; в теории познания – через принцип богоуподобления; в философии истории – через провиденциализм и эсхатологизм [2, с. 454; 3, с. 62–76]. Последние утверждают взгляд на историю как целесообразный процесс, направляемый Богом к заранее предопределенной цели – «Царству Божию», которое представляется миром истинного, прекрасного и совершенного, где человек достигает полного единства с Богом. А это и есть конечная цель и смысл человеческого существования. Такое представление роднит все направления и течения христианской мысли. Разногласия возникают по вопросам истолкования этого «царства Эсхатона» и путей, ведущих к нему, преодоления принципиального дуализма мира «горнего» и «земного», «подлинного» и «неподлинного» бытия. Разграничение мира на две сферы является идейной предпосылкой для возникновения религиозно-философских концепций революции как преобразований, превосходящих по своей радикальности все другие преобразования. А совокупность выше названных принципов и установок, составляющих методологическую базу религиозного философствования, служит инструментарием, с помощью которого осмысливается феномен революции.

Взгляды русских философов конца XIX– начала XX вв. на революцию уходят своими корнями в христианскую философию истории и антропологию.

Как уже отмечалось выше, религиозно-философское видение проблемы революции лежит в плоскости фундаментальной для христианства задачи преодоления земного зла. Поэтому центральным методологическим основанием трактовки революции выступает идея преображения в рамках христианской эсхатологии. Идея преображения мира, изменения космического миропорядка через внутреннее интеллектуально-духовное напряжение, духовно-волевое усилие, реализуемое с помощью религиозного гнозиса, творческого порыва, мистической любви, эмоционально-экстатического акта, художественных программ и т.п., высказывалась и обосновывалась в истории русской мысли неоднократно. Эта тема всегда была характерной для русской духовной традиции. Она стояла в центре религиозно-философских учений Вл. Соловьева, С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Карсавина, С. Франка, П. Фло-

ренского, Л. Шестова и других представителей русского культурно-философского и религиозного Ренессанса конца XIX – начала XX вв. На базе христианского умозрения здесь были развиты концепции богочеловечества и богочеловеческого процесса, в которых тема получила философскую проработку, в результате чего онтологическая перспектива космической истории была расширена эсхатологическим и метаисторическим планами.

Согласно этим концепциям, смысл и назначение мирового бытия представлялись как процесс соединения мира и Бога, что предполагало трансцендирование мирового бытия и через превосхождение собственной природы вхождение в божественное бытие. На языке христианской метафизики результат этот обозначался как обожение, преображение мира. А история в христианской философии богочеловеческого процесса понимается, соответственно, как «онтологическая динамика восхождения мира к богу» [4, с. 71].

Христианские представления о должном состоянии мира и человека, совершенном образе бытия, отличном от здешнего, эмпирического, несовершенного и ущербного бытия, возникшего в результате распада бытия совершенного, под действием стихий греха, и зла и пути к воссозданию утраченной целостности и совершенства как главная задача и назначение всей исторической жизни человечества – вот смысловой эпицентр и проблемное поле русской религиозно-философской мысли конца XIX – первой половины XX вв. Прежде всего того ее крыла, которое известно под именем «метафизики всеединства». Но не только. Задача всеохватывающего синтеза, собирания мира, духа, достижения «софийного» состояния бытия была определяющей и для других течений русской религиозно-философской мысли. Это относится к «онтологической гносеологии» интуитивиста Н. Лосского, философским построениям Н. Бердяева, учениям деятелей евразийского движения и др.

В глобально-космическом плане миссия человека в соответствии с традицией православной антропологии определялась как работа по собиранию и преобразованию-преображению мира в живое и стройное целое. Причем не внешними действиями, не насильственной перестройкой на основе каких-либо отвлеченно-теоретических проектов, а органическим любовным соединением всего со всем. В плоскости личностного существования это соборно-космическое обожение (теозис) сопровождается индивидуальным соединением с Богом. Через раскрытие и высвобождение потенций здешнего бытия достигается его актуальное преображение, которое предполагает и практическое преобразование природы, общества и человека. Такое преобразование мира, направленное на его преображение, В. С. Соловьев называл теургией [5, с. 261].

Онтологическое трансцендирование завершается превращением наличного бытия с его главными характеристиками – конечностью и смертностью – в образ бытия совершенного, лишённого этих предикатов, бытия, в котором история человечества заканчивается, а время преодолено вечностью и утверждается царство богочеловечества [6, с. 145–161].

Философия богочеловеческого процесса, развиваемая русскими философами, представляла этот процесс в виде привычной трехступенчатой модели: «первоначальное единство – разъединение – воссоединение». Схема, широко известная со времен неоплатонизма (Единое–Ум–Душа), в дальнейшем использовалась итальянским мыслителем Иахимом Флорским (ок. 1132–1202 гг.), создателем мистико-диалектической концепции исторического процесса, согласно которой история толковалась как прогрессивное движение от

рабства к свободе, проходящее, как через три необходимые стадии, через «три состояния мира», соответствующее трем лицам христианской троицы (Отец, Сын, Святой Дух), и ведущая к осуществлению идеальной «эры Святого Духа», «царству мира и правды на земле».

Осуществление своего хилиалистического идеала Иоахим Флорский мыслил как результат необходимо развивающегося божественного откровения, возможного вследствие грандиозного вселенского переворота. Ну и, конечно, Гегель и его последователи. Роль, которую отводил немецкий философ диалектической триаде в своей системе, общеизвестна и не нуждается в разъяснении. У русских философов трехступенчатая модель наиболее выпукло представлена в метафизике всеединства В. С. Соловьева, в учении о ступенях религиозной эволюции человечества Д. С. Мережковского (созвучном, кстати, в ряде аспектов с историософией Иоахима Флорского), в онтологии триединства Л. П. Карсавина.

Метафизика богочеловеческого процесса определялась и направлялась различными факторами и интуициями. О влиянии западного философского процесса на русскую религиозную метафизику сказано немало. В первую очередь обычно называют имена Шеллинга, Гегеля, немецких мистиков. Меньше разработан вопрос о связях духовных традиций Восточного христианства с религиозно-философским процессом в России XVIII – начала XX вв. Лишь в последние годы здесь наметилось определенное продвижение вперед. Разумеется, можно оспаривать признание в качестве аутентичной российской философской традиции религиозной философии, восходящей к славянофилам и В. С. Соловьеву. Но очевидно и то, что философский процесс в любой стране не может быть адекватно отображен вне понимания его в качестве аспекта исторического существования национальной культуры, органической частью которой являются и духовно-религиозные традиции [7, с. 26–57].

Важное место в формировании русской духовности занимают две выдающиеся личности – Нил Сорский (1433–1508) и Иосиф Волоцкий (1439–1515), являющиеся, по словам Н. Бердяева, «символическими образами в истории русского христианства» [8, с. 48]. Широко известен знаменитый спор между последователями Нила Сорского (нестяжателями) и Иосифа Волоцкого (осифлянами) по поводу монастырской собственности [9, с. 94–216]. Но это была лишь одна из сторон полемики. Более глубокий и подлинный смысл этой борьбы лежал в иной плоскости. Здесь столкнулись два типа духовности, два идеала и религиозных замысла. Дискуссия шла, по существу, о «самых началах и пределах христианской жизни и делания», писал известный русский историк философской и общественной мысли, богослов Г. Флоровский [9, с. 17]. Эта сторона дела чрезвычайно важна для понимания отношения русских мыслителей к проблеме радикального преобразования мира, к проблеме революции.

Нил Сорский – представитель северного русского пустынночества, первый русский последователь византийского этико-аскетического и религиозно-философского учения – исихазма. Имея созерцательный духовный склад, Нил Сорский исповедовал путь аскезы. Он учил борьбе с грехом, тщете земной жизни, славил слезы покаяния. Цель аскезы (как телесной, так и внутренней) – приготовление к «умной молитве», теорию которой Нил Сорский почерпнул в исихазме. Заволжское движение русского монашества, духовным лидером которого был старец Нил, являлось, таким образом, про-

должателем византийских традиций. Это было созерцательное монашество, проповедовавшее решительный уход из мира, скитский, уединенный образ жизни, противопоставляемый шумному и слишком организованному «общежитию». «Нестяжание», собственно, и являлось этим путем ухода – не иметь ничего в миру. Здесь важно подчеркнуть, что данный тип аскетизма восходит не к отвержению мира, не к гностическому презрению плоти, а, как писал В. В. Зеньковский, «к тому яркому видению небесной правды и красоты, которое своим слиянием делает неотразимо ясной неправду, царящую в мире, и тем самым зовет нас к освобождению от плена мира» [10, т. 1, ч. 1, с. 37]. Как видим, аскетизм указанного типа заключал в себе не отрицательный, а положительный момент, он представлялся своим сторонникам средством духовного преображения и освящения мира. Обратим внимание на эту черту. Она представляет интерес не только для понимания внутренней эволюции некоторых влиятельных течений русской мысли. Ее учет может приоткрыть существенные особенности онтологического критицизма или даже онтологического нигилизма в русской философии первой половины XX в., его отличие от схожих явлений в западной философии.

Аскетическое совершенствование, школа внутренней, «умной молитвы», именуемая «духовным деланием», считается в православии одним из путей соединения с Богом [11, с. 95–259]. На практике, однако, это было не только преодолением мирских пристрастий, но и некоторым забвением мира, причем не только в его суетности, но и в его нуждах и реальных проблемах. Последнее, видимо, и определило историческую недействительность движения нестяжателей. В миру остались действовать «осифляне». Именно отказ от прямого религиозного действия и был, по мнению Г. В. Флоровского, своеобразным социальным коэффициентом нестяжательства [9, с. 21].

Оставляя в стороне детали духовного портрета Иосифа Волоцкого и его последователей, отметим лишь, что в советской литературе «осифляне» изображались, главным образом, как идеологи крупных феодалов, а затем и великокняжеской власти, сторонники репрессий и казней еретиков, что в общем-то совсем не лишено оснований [12, т. 1, с. 206]. Н. Бердяев видел в Иосифе Волоцком главного «обоснователя русского самодержавия» [8, с. 49]. Однако в свете интересующей нас темы внимание привлекает другая сторона идейного наследия и жизненной практики «осифлян».

Отличие от заволжских старцев, искавших уединенного созерцания, «осифляне» стремились осуществить идеал совершенного общежития. Известно, что поддержание строгого общежития всегда давалось на Руси с большим трудом, о чем красноречиво свидетельствуют и наши дни. Оно предполагает суровую дисциплину и внимание к букве устава – говоря современным языком, развитое правосознание, законопослушность. Иосиф Волоцкий исповедовал идею социального служения. Монашескую жизнь он рассматривал как «несение креста», особого рода религиозно-земскую службу. Духовная жизнь подчинялась у него изнутри социальному служению, делу справедливости и милосердия.

Есть основания утверждать, что «монастырские села» Иосиф защищал не из меркантильных, во всяком случае, не только из меркантильных, соображений, но и из филантропических и социальных побуждений, использовал их и для помощи бедным и нуждающимся, особенно в тяжелые годы. Другое дело, что у его последователей замысел этот нередко искажался. Но все же

главная проблема программы Иосифа Волоцкого, как это заметил Г. Флоровский, состояла в той внутренней опасности, которую она содержала, опасности чрезмерного внимания к вопросам внешнего действия и недооценки внутренней творческой работы. Русский исследователь сделал чрезвычайно важный вывод о том, что религиозно-политическая мысль «осифлян» в целом не способствовала культурному подъему, т.к. «хождение в народ», по его мнению, ведет, скорее, к «культурному равнодушию, по каким бы мотивам в народ не уходили». И замысел социальной справедливости «легко может вырождаться в идеал равновесия и уравнивания», в свете которого творческий пафос может выглядеть как опасное беспокойство [9, с. 19]. Об этом же, кстати, писали всю свою жизнь немец Ф. Ницше и русский мыслитель Н. Бердяев, что, в общем-то, и подтвердила история человечества в XX в.

Таким образом, разногласия между «осифлянами» и «нестяжателями» в выделенном здесь аспекте можно свести к следующему противопоставлению: завоевание мира на путях внешней работы в нем или преодоление мира через преобразование и воспитание нового человека.

Значение этих установок для последующего развития философской и общественно-политической мысли трудно переоценить. Противоборство двух указанных тенденций составило едва ли не главную линию русской духовной жизни XIX – начала XX вв. Не могли они не сказаться и на интерпретации проблемы революции.

Идея преобразования–преображения мира в истории русской мысли имела двоякое толкование. Первое связано с концепцией «освящения» истории и «священной миссии» власти (учение о «святой Руси», теория о Москве как «Третьем Риме», старообрядчество). Истоки второй восходят к Нилу Сорскому. В XVIII в. установки Нила Сорского были подхвачены и продолжены Тихоном Задонским (1724–1783), Паисием Величковским (1722–1794), которые призывали освободить дух от плена суеты, от упоения текущей жизнью, искать за красками мира подлинное ядро событий. Они заложили основу идеи преобразования жизни через ее мистическое осмысление – не освящения жизни, а именно ее преобразования через внутреннее обновление человека.

Мысль о преобразении мира посредством его прохождения сквозь внутренний интеллектуально-духовный опыт человека обосновывалась и Г. С. Сковородой, которому было присуще моральное отталкивание от пустоты внешней жизни и влечение к более глубокому и духовному типу жизни. Сковорода перевел проблему преобразования в этическую плоскость, поставив вопрос о природе зла в мире и путях его преодоления [10, т. 2, ч. 1, с. 83–85, 92–107, 117, 146–180; 13, с. 5–54].

Вопрос о природе зла, пронизывающего царство бытия, мир, в котором живут люди, путях и средствах его преодоления стоял в центре русской религиозно-философской мысли. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на названия таких важных для понимания существа учений виднейших отечественных философов книг, как «Оправдание добра» Вл. Соловьева, «Бог и мировое зло», «Условия абсолютного добра» Н. О. Лосского, «Столп и утверждение истины» П. А. Флоренского, «Духовные основы жизни», «Свет во тьме», «Непостижимое» С. Л. Франка, «Свет невечерний» С. Н. Булгакова, «Философия свободного духа», «Дух и реальность» Н. А. Бердяева. Осмысление проблематики мирового зла велось в рамках христианской теодицеи,

главным вопросом для которой было выяснение того, как возможно совмещение идеи бога как всесовершеннейшего существа и несовершенного мира, лежащего во зле. Общим для русских философов разной ориентации было решительное отвержение релятивистских теорий этики, в которых добро и зло представлялись в качестве относительных понятий, при этом зло полагалось необходимым условием добра. Не принимался и манихейский взгляд, исповедовавший онтологическую самобытность зла как второго (наряду с добром) начала мирового бытия. Добро и зло – это характеристики бытия, хотя и обладающие разным онтологическим статусом. Так, по В. С. Соловьеву, зло есть, скорее, недостаток добра, чем положительная самостоятельная сила. В. С. Соловьев следует традиции, восходящей к Клименту Александрийскому и Оригену, Василию Великому и Григорию Нисскому и получившей наибольшее развитие в трудах Псевдо-Дионисия Ареопагита. Согласно этой традиции, зло не образует никакой самостоятельной сущности или бытия, оно «только искажает и уничтожает основание всего сущего» [11, с. 48]. В этом же русле истолковывалась природа зла С. Н. Булгаковым, С. Л. Франком, П. А. Флоренским. Зло для них – отторженность от всеединства, разрывы и провалы в нем, антисофийность [14, с. 228; 15, с. 533–539; 16, с. 171]. Н. О. Лосский, развивавший учение об органическом мировоззрении, сторонник персоналистической философии, в отличие от последователей метафизики всеединства, полагал, что последние недооценили трагической силы зла. Источник зла он видел в недостатке любви и вражде мировых существ друг к другу, следствием чего являются обособление, уединение и себялюбие, утрата полноты жизни и, как крайний случай, ожесточенная борьба за материальные блага [17, с. 112, 346].

Высшее, Абсолютное Добро, являющееся основой и масштабом для всех оценок, есть Бог. Что касается зла, то оно не первично и не самостоятельно, поскольку существует только в тварном мире, да и то не в первозданной сущности его, а как следствие свободного акта воли субстациональных деятелей, приводящего к нарушению иерархии ценностей: тварная личность, вступая в мировой процесс и стремясь к полноте бытия, начинает свою жизнь с любви к себе, большей, чем к Богу и сотворенным им личностям. Это и есть первичное нравственное зло, грехопадение тварного существа [17, с. 346].

В задачу настоящей работы не входит детальное рассмотрение религиозно-нравственной проблематики в русской философии начала XX в. В контексте данного исследования она интересна преимущественно в связи с анализом методологических предпосылок религиозной философии революции. И здесь можно наблюдать, что на первый план для русского религиозного сознания выдвигается вопрос о путях и возможностях преодоления мирового зла и достижения абсолютной полноты бытия или Абсолютного Добра, что и является основным содержанием богочеловеческого процесса.

Все сказанное выше об истолковании русскими философами природы мирового зла относится лишь к одному, правда, наиболее представительному направлению православной теодицеи. Другое было представлено Н. А. Бердяевым. Зло и страдание, полагал он, существуют в мире потому, что существует свобода, свобода же трактуется философом в духе немецкой мистики Я. Беме и Шеллинга как нечто безосновное, иррациональная бездна, лежащая глубже самого бытия и первичная по отношению к бытию и богу. «Тайна зла есть тайна свободы. Без понимания свободы не может быть понят иррацио-

нальный факт существования зла в божьем мире. В основе мира лежит иррациональная свобода, уходящая в глубь бездны... Эта бездонная, предшествующая всякому добру и всякому злу тьма бытия не может быть до конца и без остатка рационализирована, в ней всегда скрыты возможности прилива новых непросветленных энергий. Свет Логоса побеждает тьму, космический лад побеждает хаос, но без бездны тьмы и хаоса, без нижней бесконечности нет жизни, нет свободы, нет смысла происходящего процесса. Свобода заложена в темной бездне, в ничто, но без свободы нет смысла... Свобода порождает зло, как и добро... Бог всемогущ над бытием, но не над ничто, но не над свободой. И потому существует зло» [18, с. 420]. Мир, таким образом, не выводится Н. А. Бердяевым из-под власти божественной воли, но бог при этом освобождается от ответственности за мировое зло. Понятно, что подобное решение проблемы теодицеи не могло не вызвать возражений со стороны мыслителей, не отошедших столь далеко от христианской догматики [17, с. 420]. Главный упрек сводился к тому, что Бог в этой концепции есть существо не первичное, а производное от какого-то другого начала, что затемняло вопрос о происхождении мира и, конечно же, ставило под сомнение статус Бога как всемогущейшего существа. Отмеченные различия в трактовке природы зла порождали, соответственно, и разные подходы к решению проблемы его преодоления. Но главный рубеж пролегал между христианской метафизикой, не признававшей мир злым в его основах, а лишь падшим и греховным, и теми учениями, которые настаивали на субстанциальном характере зла. К их числу относился буддизм, в древнегреческой мысли это орфизм и неоплатонизм, в той мере, в какой он учил об избавлении от материального мира, то же самое можно сказать о гностицизме и манихействе. Материальное начало в метафизике такого типа не подлежало преображению и просветлению, оно может быть лишь отсечено от начала духовного и отброшено. Злая материя не может быть побеждена, можно лишь отделиться от нее. Это означало фактическое непризнание благодатной и преобразующей силы духа, что делало эти учения несовместимыми с философией богочеловеческого процесса, во всяком случае с теми ее версиями, которые развивались на русской почве.

Итак, в христианской метафизике нет отрицания мира и человека. Источник зла видится здесь не в материи, а в свободе. Злом объявляется не множественный мир, не какая-либо материальная субстанция, а те вытекающие из направленности воли соотношения мира, которые принимают форму материальной скованности [18, с. 401]. Нелюбовь христианства к «миру» направлена не на творение Бога. Под «миром» имеется в виду не многообразие космической и человеческой жизни, а греховное состояние мира, его падение. В святоотеческой литературе под «миром» понимались греховные страсти. В избавлении от привязанности к такому миру, лживому и неподлинному, устремленности к миру иному русские философы видели смысл жизни человека и человечества. В этом отношении наиболее духовно близкими мыслителями прошлого оказывались те деятели христианства, которые проповедовали нравственное совершенствование, опрощение вплоть до аскетизма, презрение к мирской суете, богатству и материальным благам вообще. Это Ориген с его доктриной аскетического самопознания и укрощения страстей; Максим Исповедник, очеловечивавший бога и обожествлявший человека; Иоанн Златоуст – апологет отшельничества; Климент Александрийский – автор беседы на тему «Какой богатый спасется?»; исследователь «бездн» человеческой души Августин.

Рассматривая историю дохристианской духовности через призму вопроса об избавлении от мирового зла, Н. Бердяев констатировал тот факт, что преобладающим типом его решения здесь был отказ не только от мира, но и от личности, принявший радикальные формы в буддизме. С последним он сближал взгляды А. Шопенгауэра и Л. Толстого, подчеркивая имперсоналистический характер их учений. Внимание Н. Бердяева в этой связи привлек имевший некоторое внешнее сходство с буддизмом, но возникший в иной культуре, стоицизм. Хотя у стоиков нет такой потрясенности страданиями, нет отказа от бытия, они также искали избавления от страданий, не изменяя мира, принимая его таким, каков он есть. Стоицизм своеобразно сочетал пессимистическое ощущение жизни с крайним космическим оптимизмом. Для избавления от страданий и зла мира человек должен согласовать свою жизнь с мировым разумом, космическим логосом и космической гармонией. Избавление от страданий и зла связывается с изменением отношения к событиям жизни. То есть все зависит от состояния сознания, от достижения бесстрастия, безразличия ко всему, что страдания причиняет. Отрицая гностически-манихейский дуализм в толковании добра и зла, а также понимание зла как момента добра в метафизике всеединства, которую он вместе с Н. Лосским обвинял в уклоне в сторону пантеизма, Н. Бердяев связывал христианское решение вопроса с третьим путем, через проблему свободы. Внутренняя диалектика иррациональной свободы порождает зло на высшей иерархической ступени бытия. Дух, стоящий на этой ступени, первым отпал от Бога, совершил акт самоутверждения в духовной гордыне, дал толчок распространению зла на всю иерархию бытия. Вывод философа: зло имеет духовную природу, оно совершилось в духовном мире, а не в низинах материи [18, с. 113–114]. Злоба, ненависть, ревность, месть, разврат, эгоизм, корыстолюбие, подозрительность, скупость, тщеславие – вот далеко не полный перечень характеристик зла. Все эти свойства, по Бердяеву, – следствие ложного самоутверждения, духовной гордыни человека, полагающего центр жизни не в области абсолютных ценностей, а в самом себе.

Впрочем, сам Н. Бердяев высоко оценивал в решении вопроса о природе зла и перспективах его преодоления роль одного из представителей пантеизма и западного варианта идеи всеединства Ф. Шеллинга. Больше того, Шеллинг оказал заметное влияние на самого Бердяева. В вышедшем в 1809 г. трактате «Философское исследование о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» Шеллинг, как в свое время Кант, увязывал проблему зла с проблемой свободы. Но если для автора «Критики практического разума» зло – противоположность свободы, свободное деяние направлено всегда к благу, прогресс свободы устраняет зло [19, т. 4, ч. 1, с. 379–396], то Ф. Шеллинг именно в свободе человека видел корень зла. Вне человека нет ни добра, ни зла. Если частная воля служит воле всеобщей, полагал Шеллинг, то она творит добро, если же только своим эгоистическим интересам – зло. Возникнув в результате грехопадения, зло в дальнейшем становится средством движения общества вперед, к «спасению», к конечному торжеству добра. Оно лишено собственной сущности и возникает только как противоположность любви. Любовь же восторжествует после полного отделения добра от зла. Победа любви будет победой бога над природой и над величайшим ее злом – смертью [20, с. 574]. Нетрудно увидеть близость этих рассуждений мыслям Н. Бердяева.

Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский и другие деятели религиозно-философского Ренессанса начала XX в. исходили из убеждения, что зло в его метафизических основах в конечном счете приводит к истреблению свободы. Его последствием в мире всегда является распад бытия, его атомизация, взаимная отчужденность распавшихся частей и насилие одной части над другой. Подлинно свободным может быть лишь бытие, наполненное любовью. Только любовь, в которой находит выражение родство человечества в боге, дает спасение от зла и смерти. Восходящий к славянофильству принцип соборности как особого рода коллективизма, в котором личность свободна и не растворяется в общей массе, а наоборот, только и обретает свою подлинную духовную самостоятельность для единения с другими такими же свободными личностями на основе родства в боге и общей любви к нему, поднимался у русских религиозных философов конца XIX – первой половины XX вв. на новый уровень обобщения (метафизика всеединства В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, П. А. Флоренского, учение о мире как органическом целом Н. О. Лосского, учение о новой духовности, достигаемой через персоналистическую революцию Н. А. Бердяева) и служил противовесом многочисленным проектам утверждения мировой гармонии насильственными, принудительными средствами. Мысль о том, что злыми путями и средствами невозможно достичь благих целей, что через ненависть и злобу, зависть и месть, через раздор и яростное истребление инакомыслящих невозможно осуществить пусть даже и самый совершенный проект будущего жизнеустройства, что злые средства имеют свойство приобретать самостоятельное значение и становиться единственным содержанием жизни, иначе говоря, мысль о том, что нет злых путей к добру, на таких путях всегда торжествует зло, стала рефреном всей социальной философии русского религиозно-философского Ренессанса первой половины XX в.

Основной мотив русского религиозного творчества – экспликация евангельской мифологемы о созерцании избранными апостолами на горе Фавор светлого лика преображенного Христа, в то время как внизу, под горой, среди общего смятения неверующих и развращенных обывателей скрежетал зубами и испускал пену бесноватый, которого ученики Христовы «по неверию своему» не могли исцелить. Контраст мира «горнего» и «земного», преображенного и непреображенного просматривался русской мыслью во всей человеческой истории. Последняя складывалась так (и это было зафиксировано с необычайной силой в русской литературе и философии), что чем выше передовая часть человечества в лице своих духовных лидеров – выдающихся писателей, деятелей культуры и искусства, философов, церковных подвижников и аскетов, всех тех, на ком лежала печать духовности, продвигались в своих неустанных исканиях «света Фаворского», абсолютных нравственных и эстетических ценностей, в разработке социальных идеалов, тем отчетливее чувствовалось господство зла и неправды в реальной жизни, неустроенность и неблагополучие в ней. Контраст этот, впрочем, можно было обнаружить не только на Русской равнине. Но почему именно в России он проявлялся так зримо? По словам Е. Н. Трубецкого, в странах, где укоренилась европейская цивилизация, «он так или иначе замазан культурой и потому менее заметен для поверхностного наблюдателя» [21, с. 112]. В условиях относительного порядка и житейского благополучия Запада силы зла ограничены в своих возможностях. В России же, стране классической житейской неустроенности,

они веками буйствовали на просторе: «Там черт ходит при шпаге и шляпе, как Мефистофель; у нас, напротив, – он откровенно показывает хвост и копыта» [21, с. 112–113].

В России не было недостатка в людях, предвосхищавших умственным созерцанием грядущее преображение, верящих в него и будивших эту веру у своих соотечественников, возвещавших на равнине грядущее исцеление сверху. Образ Фаворского света, символизировавший переустроенный и облагороженный мир, пленивший, вслед за христианскими подвижниками, великих русских мыслителей и писателей, в сущности выражал глубинный стержень всей русской литературы, философии и общественной мысли. Стало уже общим местом говорить о непопулярности в России отвлеченного созерцания и оторванного от жизни «искусства для искусства», нравственно-практической ориентации русской философии и т.п. И действительно, в этом отношении можно наблюдать удивительное сходство даже у тех мыслителей, чьи общественные и эстетические идеалы были далеки от подобия. В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, П. Л. Лавров, М. И. Бакунин, П. Н. Ткачев, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин – с одной стороны, славянофилы, Данилевский, К. Леонтьев, Достоевский, Л. Толстой, Н. Федоров, Вл. Соловьев, С. Булгаков, братья С. и Е. Трубецкие, Н. Бердяев, П. Флоренский, Н. Лосский, С. Франк, Л. Красавин, Г. Федотов, Д. Мережковский – с другой, сходились в одном: они всегда искали истины не отвлеченной, а действительной, их творчество имело нравственно-практическую ориентацию, их произведения создавались во имя идеала целостной жизни. Единым был и источник творческого вдохновения: родная страна, народ, страждущий и требующий помощи, ощущение вопиющей несправедливости, разлитой в жизни. Причины удручающей социально-экономической, политической и духовно-нравственной ситуации, сложившейся в стране, толковались, разумеется, по-разному, как и пути выхода из нее. Впрочем, и среди носителей религиозного сознания существовали различные подходы и оценки. Одни, как Нил Сорский, старцы Оптиной пустыни, бежали прочь от мирской суеты, чтобы в аскезе достичь высот духовной жизни. Другие (писатели, художники, философы) активно готовили общественность к этому восхождению воспитанием человеческой души и ума. Идея преображения получила своеобразное толкование и в софиологии С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, опиравшихся на философию В. С. Соловьева. Софиология противостояла гностически-манихейскому толкованию соотношения духа и плоти. С. Н. Булгаков называл христианство «религией спасения тела», критиковал «дурной буддийский аскетизм» [22, с. 213], другие учения, принижавшие плоть. В сформулированном им учении о «святой телесности», концепции «религиозного материализма» благодатное преображение мира связывалось с «одухотворением материи». Как справедливо указала П. П. Гайдено, культ «святой плоти», апофеоз «преображенной телесности» неожиданно сблизил Булгакова, как и Флоренского, считавшими себя представителями ортодоксального богословия, с деятелями «нового религиозного сознания» – Д. С. Мережковским, Н. А. Бердяевым и другими, как раз критиковавшими историческое христианство за приверженность к аскетической линии [23, с. 189]. Справедливости ради нужно сказать, что и софиология, вобравшая в себя элементы языческих культов, мистики кабаллы, неоплатонизма, плохо согласовывалась с христианской ортодоксией.

Религиозно-философская литература начала XX в. в России в полной мере отразила общий ход развития религиозной мысли, определявшейся, как было отмечено ранее, в общих чертах контрастом между внутренне распавшейся, «рассыпавшейся в противоречиях», погрязшей во зле действительности и «светом Фаворским» – высшим началом всеобщего духовного и телесного просветления человека и всей реальной действительности. Противоположность между религиозно-нравственным идеалом совершенной, цельной жизни, воплощенным русскими религиозными мыслителями в образах «Софии – Премудрости Божией» – прообразе целостного творения, «Пречистой Девы Марии» – олицетворявшей эту целостность, явлению обоженного мира, Церкви как выражения всеединства в коллективной, социальной жизни человечества и реальной жизнью в ее хаотическом, крайне противоречивом и неблагоприятном состоянии находилась в центре идейных исканий деятелей религиозно-философского Возрождения в России первой половины XX в. Библейская мифологема грехопадения и греха выступала символом внутренней раздвоенности и распада духовной жизни, состояния развращенности, развороченности души, потери душой субстанционального единства, сознания своей творческой природы [16, т. 1, с. 174]. Вся эмпирическая действительность рассматривалась в христианской метафизике как переходное состояние от неподлинного бытия к совершенству, и в качестве такого перехода она не могла не быть причастной и к тому, и к другому миру. При этом мировой процесс понимался не как безболезненная эволюция. Борьба противоположных возможностей и влечений осложняла его множеством препятствий, уклонениями в сторону, неудачами и головокружительными падениями [24, с. 109].

Таковы понятийно-теоретические основания и общетеоретический контекст, в котором осмысливались и трактовались революционные события в России начала XX в. Религиозно-философская трактовка идеи революции противостояла, прежде всего, ее марксистской версии.

Список литературы

1. **Соколов, В. В.** Европейская философия XV–XVII веков / В. В. Соколов. – М. : Высшая школа, 1984. – 448 с.
2. **Майоров, Г. Г.** Формирование средневековой философии (латинская патристика) / Г. Г. Майоров. – М. : Мысль, 1979. – 431 с.
3. **Радугин, А. А.** Философия. Курс лекций / А. А. Радугин. – М. : Центр, 1997.
4. **Хоружий, С. С.** Исихазм и история / С. С. Хоружий // Человек. – 1991. – № 4.
5. **Соловьев, В. С.** Собр. соч. / В. С. Соловьев. – СПб. : Общественная польза, Б.г. – Т. 1.
6. **Бердяев, Н.** Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы / Н. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 175 с.
7. **Хоружий, С. С.** Философский процесс в России как встреча философии и православия / С. С. Хоружий // Вопросы философии. – 1991. – № 5.
8. **Бердяев, Н. А.** Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века / Н. А. Бердяев // О России и русской философской культуре. Философия русского послеоктябрьского зарубежья / сост. М. А. Маслин. – М. : Наука, 1990.
9. **Флоровский, Г. В.** Пути русского богословия / Г. В. Флоровский. – Киев : Путь к Истине, 1991. – 600 с.

10. **Зеньковский, В. В.** История русской философии : в 2-х т. : в 4-х ч. / В. В. Зеньковский. – Л. : Эхо, 1991. – Т. 1. – Ч. 1. – 221 с. ; Т. 1. – Ч. 2. – 256 с. ; Т. 2. – Ч. 1. – 280 с. ; Т. 2. – Ч. 2. – 269 с.
11. Мистическое богословие. – Киев : Путь к истине, 1991. – 392 с.
12. История философии в СССР : в 5 т. – М. : Наука, 1968–1988. – Т. 1–5.
13. **Иваньо, И. В.** Философское наследие Григория Сковороды / И. В. Иваньо, В. И. Шинкарук // Сковорода Г. С. Собр. соч. : в 2-х т. – М. : Мысль, 1973. – Т. 1. – С. 5–54.
14. **Булгаков, С.** Русские думы / С. Булгаков // Русская мысль. – 1914. – № 12.
15. **Франк, С.** Сочинения / С. Франк. – М. : Правда, 1990. – 608 с.
16. **Флоренский, П. А.** Столп и утверждение истины / П. А. Флоренский // Соч. : в 2-х т. – М. : Правда, 1990. – Т. 1. – 813 с.
17. **Лосский, Н. О.** Бог и мировое зло / Н. О. Лосский; сост. А. П. Поляков, П. В. Алексеев, А. А. Яковлев. – М. : Республика, 1994. – 432 с.
18. **Бердяев, Н. А.** Философия свободного духа / Н. А. Бердяев. – М. : Республика, 1994. – 480 с.
19. **Кант, И.** Соч. : в 6 т. / И. Кант. – М. : Мысль, 1963–1966. – Т. 1–6.
20. **Шеллинг, Ф. И. Й.** Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах / Ф. И. Й. Шеллинг // Сочинения в 2 т. – М. : Мысль, 1987, 1989.
21. **Трубецкой, Е. Н.** Свет Фаворский и преображение ума / Е. Н. Трубецкой // Вопросы философии. – М., 1989. – № 12.
22. **Булгаков, С. Н.** Свет невечерний: созерцания и умозрения / С. Н. Булгаков. – М. : Республика, 1994. – 415 с.
23. **Гайденко, П. П.** Антиномическая диалектика С. Н. Булгакова / П. П. Гайденко // Критика немарксистских концепций диалектики XX века. Диалектика и проблемы иррационального / под ред. Ю. Н. Давыдова. – М. : Изд-во МГУ, 1988.
24. **Трубецкой, Е. Н.** Смысл жизни / Е. Н. Трубецкой ; сост. А. П. Поляков, П. П. Апрышко. – М. : Республика, 1994. – 432 с.

ТЕОНОМНАЯ ЭТИКА КАК АКТУАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОИСКА СМЫСЛА ЖИЗНИ

Данная статья посвящена проблеме предмета и статуса теономной этики. Автор пытается показать специфику и выявить отношение такого типа этики к вопросам о смысле и целях жизни. Другая важная задача статьи – эксплицировать синтетический характер теономной этики, способной стать мостом между научным и религиозным мировоззрением. Это вторая публикация из трехчастного цикла, подготовленного к печати.

Понятие «теономная этика» может вызвать самую разную реакцию у читателей – от простого недоумения до претензий семантического типа. В чем же неоднозначность и, одновременно, возможная непроясненность этого понятия? Во-первых, самый точный смысл слова говорит нам о богозаконности этики, точнее же – нравственности. Уточнение потребовалось сразу же, поскольку в литературе имеются модели, соотносящие нравственность и этику в различных аспектах. Наиболее употребительный – толковать этику как своего рода науку о нравственности. Не отвлекаясь от сути дела, подчеркнем рефлексивный характер этики, этической мысли, поскольку она с большей или меньшей степенью систематичности следует за реальными нравами и нравственностью. Однако и тут есть проблематичные моменты, одним из которых является вопрос о том, насколько «этична» (т.е. относится к этике), например, нравственная оценка, в какой степени она рефлексивна, а значит, где та граница, когда нравственное суждение переходит в этическую (научную) рефлексию? За всем этим не следует забывать, что прямая богозаконность нравственных предписаний свидетельствуется Священным писанием монотеистических религий, в религиях же политеистических каноны нравственности, как сакральные, функционируют в форме табу и иных модификациях. Но если так, какой смысл имеет этическое исследование, проведенное с позиций светской науки, хотя и симпатизирующее христианской религии, если оно само лежит по сути не в сфере теономии? Здесь мы сталкиваемся с тем фактом, что, вообще говоря, понятие теономии гораздо шире, чем мы это себе интуитивно представляем, и на этом основании можно соотносить его с богословским и, отчасти, светским понятием естественной религии. Но, с точки зрения «чистой» науки, т.е. той, которая никоим образом не желает связывать себя с той или иной формой религии либо с деизмом, пантеизмом, панентеизмом, никакого реального объекта и предмета у религии нет, все, что она мыслит в качестве высшего, сакрального – это не более чем фикция, в лучшем случае – «гипотеза». Любопытно заметить, что выдающийся немецкий физик Э. Мах относил к простым фикциям атомы и молекулы, что не мешало ему делать открытия в рамках строгой науки того времени. Однако в случае теономной этики мы, с точки зрения чистой науки, имеем дело не только с фикцией, но и латентной теономностью, которая заменяет свою открытость понятиями «гармония природы», «порядок космоса», «фундаментальные законы мироздания». Любая наука вынуждена исходить из принципов, которые служат ее основанием и чаще всего постулируются, а не выводятся последовательно из чего-то первоначального, выс-

шего или низшего (Бог – материя). Конечно, было бы нелепо сопоставлять понятия «теономный» и «материономный» или еще какие-либо, менее парадоксальные, но все же внутренняя логика, вернее – смысловая интенция, такова, что она требует одной и той же схемы, т.е. полагать нечто первичное, некое первоначало, от которого затем начнет развиваться цепь или спираль дальнейшей мыслительной конструкции. Насколько плодотворно – другой вопрос. Тем не менее, следует учитывать тот факт, что признаки теонии латентно содержатся в некоторых научных, тем более – философских, концепциях. Большую сложность в этой связи представляет анализ и осмысление (типологизация) тех теорий, которые заявляют о взаимозависимости сфер религии и нравственности (Вл. С. Соловьев и др.). Здесь налицо дана картина генетически прерванной цепи, фрагмента рассуждения, поскольку, говоря о сотворенности человека Богом, религиозный философ видит в этом акт несомненный своей абсолютности. Следовательно, а тут, несмотря на неожиданность следования, оно оправдано, все же логикой, следовательно, говорим мы, человек как тварное существо имеет в своей глубинной сущности и божий закон в том числе в образе нравственных предписаний, а также и в образе каких-то изначальных юридических норм и т.п., – словом всего того набора правил, принципов, которые делают его жизнь по существу своему человеческой, несмотря и вопреки примордиальному грехопадению? Осуществляя эти заповеди в своей природной, земной жизни, люди в той или иной степени сохраняют следы или истину «образа и подобия» Божиих.

Религия утверждает, что люди не есть данность для самих себя, они лишены генетической автономии, или, говоря проще, у них есть Создатель. Рождая новые поколения, люди только исполняют Божию волю: «Плодитесь и размножайтесь и населяйте землю». И однако они свободны, причем настолько, что крайние пределы этой, пусть по преимуществу негативной, свободы лежат в возможности самоустранения себя из бытия, из жизни, в возможности самоубийства. По-видимому, это один из крайних типов нарушения теонии, хотя по-человечески можно понять и простить тех, кто был поставлен в невыносимые и нечеловеческие условия, кого обстоятельства души и тела привели к такой кричаще трагической развязке. Если человек в генезисе религиозного вида есть существо производное, тварное, то все же резко отличается от остального тварного мира своей принадлежностью к божественному бытию. Но аналогичную по главным линиям схемы зависимость мы могли бы увидеть и в материализме, и в идеализме: и тот, и другой не дают нам полностью независимого, субстантивного или абсолютного человека: его порождает либо анонимная природа (материя), либо столь же анонимный мировой разум (дух, идея). Однако за этой беспечной и наивной анонимностью недоговоренной мысли всегда ощущается что-то гораздо более мощное и превосходнейшее того, на что мы указываем, как на главное, в материализме и идеализме. В них до начала начал мысль не смогла или не захотела подняться, а ведь высшее открылось и дано было людям до философии, в религии, и выше его человеческая мысль, и, по-видимому, никакая другая мысль, разум подняться не могут, ибо это идея, за которую, как за «идею» именно, богословие столь часто упрекает философию, есть, конечно, идея Бога. Эта идея ни религиозно, ни философски полностью не осознана еще в своей мощи и беспредельной продуктивности. Вероятно, человечество никогда не поднимется выше этой идеи, поскольку в ней заключена вся сущ-

ность самого человека, все его настоящее, прошлое и будущее, вся его вечность, и, только вняв призыву быть совершенным, как совершенен Отец наш Небесный, он сможет осуществить реальное и живое раскрытие и освоение этой идеи, которое есть, по преимуществу, процесс для человеческого рода, хотя отдельным его представителям дается иногда акт мгновенного постижения. Само понятие теонности в этом смысле содержит и телеологические, провиденциальные моменты, и теология как и религиозная философия до сих пор не в силах примирить и объяснить столь разноплановые феномены.

Теония так или иначе необходимо должна полагать, что Закон Божий дан людям в узнаваемой и понятной форме, что он, несмотря на свою трансцендентность, все же по сути прост и в этом глубок, ибо исчерпывает фактическую нагруженность сущего до самого, так сказать, «дна». В то же время закон Божий должен ощущаться и узнаваться в совести и стыде, в любви и ненависти, в богатстве и бедности, справедливости и несправедливости. Но к последним негациям относится отрицательная функция затемнения, искажения первоначальной его чистоты и даже сознательное и открытое ему противодействие. Как же, сознавая наличие Бога, можно жить и чувствовать, а главное, действовать не по-божески, оставаясь при этом человеком? Это пока неразрешимая для разума задача, и вера относит ее к числу тех, о которых человеческому разуму и спрашивать-то грешно, ибо в противном случае люди посягают на божественную тайну, скрывающую от нас бездну непроходимости между абсолютным и относительным существом. Катафатичность и апофатичность составляют важные стороны и теонной этики, если она желает быть таковой. Собственно говоря, любая этика, поскольку она объявила себя религиозной, по сути дела, может рассматриваться как теонная, ибо редко констатируется наличие религиозности без идеи Бога или, точнее, божественного, сакрального, чего-то высшего, чем реальная данность, наконец: святость знамени у военных, святость партбилета у партийных и т.п. Есть чувство святого и у атеистов, хотя последние будут, конечно, отрицать ее религиозный смысл и настаивать на точном, «научном» определении религии. Если мы примем как пример весьма широкое определение религии, как связь относительного и абсолютного, то увидим, что и в нем возможны различные, иногда взаимоисключающие дополнительные смыслы, коннотации. Но нас интересуют не столько собственно логические трудности, сколько **суть** отношений к самой теонной этике. А она может быть представлена в общих чертах так: есть Бог, есть люди и есть Закон Божий, который они знают и должны исполнять. В этом – залог их богочеловеческого совершенства. За простотой этой рабочей формулировки встает частотол затруднений. Первое из них – Есть ли Бог? Если Он есть, то что он есть. Отсюда – смысл и роль его нравственных предписаний, их исполнения и толкования, понимания. Откуда, в таком случае, у реального мира «право» быть самим собой, противодействовать осуществлению законов, предписанных Создателем? Тут ответ может заключаться только в одном слове – свобода, и психологически совершенно оправдано такое ее гипостазирование, какое мы находим, например, у Н. А. Бердяева. Вот где загадка: в свободе земного существа. Но свобода – это не среда обитания нашего мира, она есть свойство, жизненно определяющее «самость», т.е. человека как самостоятельное существо. Его «поставил стоять» первоначально Бог, а дальше он сам «стоит» и «ходит» перед Богом. Хотя мы и не имеем морального права на бо-

гословский дискурс, но нам неизбежно придется обращаться к теологическим категориям, понятиям и терминам, часть которых давно стала общим достоянием гуманитарной культуры человечества (Бог, грех, воскресение и др.) и имеет транснаучный смысл.

Культура раскрывается в идее теомии как осмысленное, онтологически укорененное целое, данное не как пестрый набор отличий, при всей их важности, но значимый космически и исторически процесс, включающий в себя факторы разворачивания и развития человеческого в мире, основные параметры которого являют собой трансцендентно установленную данность. Прояснение и преобразование себя в этой данности, раздвижение ее горизонтов есть гуманистическая и соразмеренная культуротворчеству человечества задача, выполнение которой сталкивается с преградами темпоральных и пространственных ограничений личности и социума, осознание которых (ограничений) составляет имманентную сущностную проблему смысла.

В чем же, собственно, отличие чисто богословского понимания нравственности от того, что представлено в данной работе, претендующей на статус научной репрезентации этики неавтономного уровня? Во-первых, богословие не воспринимает вопрос о теомии как теоретически напряженный и актуальный, ведь для него он давно ясен, оно больше озабочено адекватным восприятием и истолкованием истин Откровения, поиском духовных путей их постижения и, наконец, реального исполнения. В этом отношении задача богословия более догматична. С точки же зрения теомной этики, существует целый ряд неабсолютных положений, хотя данная дисциплина и может, с одной стороны, рассматриваться как богословская по своему основанию, но даже и в этом смысле ее характер более беспокойный, ибо она занята, кроме трансцендентного будущего, тем, что является здесь и сейчас. При каких же условиях существует теомная этика?

1. Она может существовать и даже ментально осуществляться как чисто умственное образование, в основу которого положены те или иные онтологические принципы. В таком случае, по определению «демаркационистов», этому образованию или системе понятий не будет соответствовать ничего в реальном мире по той простой причине, что нет фактической основы или она логически признается несуществующей.

2. С другой стороны, теомная этика составляет суть всякой живой веры, живой религии вообще, и признающий ее существенность и жизненную достоверность бывает поражен и парализован той степенью своего несоответствия ее законам, нормам, принципам, которая предстает как результат сравнения.

Если же говорить о христианстве, то здесь налицо противоречие двух форм закона или, в более метафорическом выражении, «закона» и «благодати» (митр. Илларион). Ведь почти весь «Левит» Ветхого Завета может быть назван «бременами неудобноносимыми». И в то же время он имеет под собой все основания, называемые сакральными. Кроме того, он освящен традицией, древностью, единством рода; он, наконец, по сути есть «завет», союз между Богом и израильтянами. И о нем говорится в Новом Завете, что ничто не исполнится в мире и он не будет иметь конца (?) до тех пор, пока не исполнится все до деталей из Закона. Здесь действительно просто увидеть только противоречие одного закона другому, но христианство и христианская Церковь видит именно преемственность, следуя в этом словам Христа.

Наше сознание, принимая Творца как высшего Законодателя, всегда спешит свернуть на юридическую дорогу в истолковании его закона по отношению к людям: это просто и понятно, да и как же иначе. Но именно непринятая инаковость, оставленная в стороне мощь и сверхъестественность божества приводят нас к подобному, «слишком человеческому», т.е. одностороннему, плоскому толкованию Закона и Законодателя. Закон Божий дан для исполнения в величайшее благо, как в величайшее благо дана и человеческая свобода. Но это благо оказалось укрытым плотной завесой зла. Чтобы быть теонормной, этика должна просветлить затемненные злом очи тех, кто желает ей следовать в своих умственных и практических решениях.

Другое обстоятельство, которое немаловажно в аспекте любой нравственной системы, состоит в затруднении такого порядка: может ли учить (не научить) нравственности тот, кто сам, мягко говоря, далек от идеала, и попросту – весьма и весьма грешен? Если «нет», то на этом и надо поставить точку. Если «да», то следует объяснить, почему, и нет ли тут возможности нанесения вреда другому, рождающемуся новому моральному сознанию людей юных и молодых. Иными словами, полезна ли мудрость змия? Апеллируя к тексту Писания, мы могли бы прикрыть свое желание трактовать высокие вопросы, несмотря на личное несовершенство, мощным щитом: даже злые люди могут делать объективно добрые дела. И Господь пришел на землю не праведников спасать, и в этом смысле есть даже оттенок *felix culpa* в том, что несовершенство стремится к высшему, совершенному (да и куда же ему еще стремиться, если бездна падения осознана как ничто, без всякого апокатастазиса). Противоречивость абсолютного ничтожества в грехе и абсолютной мощи нравственного идеала может привести к отчаянию впечатлительное нравственное сознание. Где взять стойкость, где взять мужество быть? Ответ: в вере! Но в вере во что: в Бога, человека, Прогресс, Цивилизацию, Эволюцию, Материю... или во все вместе? Блуждающему сознанию современной личности все эти точки представляются равно мерцающими: оно не может досконально и прочно встать ни на одну из них. Почему? Не в моде односторонность, ее полагается избегать, не в моде плоское мышление – надо быть «продвинутым», причем, по-возможности, в разных направлениях, чем ни больше, тем лучше. Человеческая целокупность заменяется полифункционализмом, когда сам человек по сути никому не нужен, всем с ним некогда возиться, и, предоставленный самому себе, он спешит догнать толпу, чтобы избежать страшного чувства одиночества и тоски. Но он не знает, что толпа – это античеловеческое состояние, угрожающее уничтожением человеческого в личном духе, его духовное ущемление и деградация. Цивилизованная толпа в этом смысле мало отличается от варварской, она только толпится вокруг новых, но таких же сиюминутных интересов. Разглядеть себя на фоне толпы не удастся, но потеряться в ней очень легко. В этом смысле теонормная этика продолжает оставаться нравственной, решая задачи личного духа на основе сопряжения его с высшим (Бердяев Н. А.). Потеря нравственных абсолютов (Абсолюта) – грозная, катастрофическая потеря. Сползание к сиюминутному и достижимому замыкает человека в рамки простого факта в ряду других фактов (Вл. С. Соловьев), и его нежелание быть таковым проявляется все реже и слабее. Так или иначе обращение к теонормной этике содержит в себе паскалевское пари: все или ничего – вот его ставки. Логически и теоретически возникновение теонормной этики обусловлено теми же культурно-истори-

ческими обстоятельствами, что и возникновение экзегетики: необходимостью истолкования, расшифровки первоначального смысла. Эта герменевтическая задача нуждается в разрешении как греческая *πρόβλεψις*, как нечто, «выведенное вперед»; она возникает вследствие необходимости «наведения мостов» между абсолютным и относительным, данным, но неявно, Совершенством и заданным совершенствованием. Подобно тому, как тучный человек стремится похудеть с целью вернуть утраченную подвижность и грацию, так и духовные усилия в нравственной, теономно определяемой сфере призваны вернуть личность к истокам всякого добра, истины и красоты. Этичность, или этизация, т.е. рефлексивная предметность теонии, рождается именно на том основании, что она этого основания **ищет**, опираясь одной стороной своих системных построений на мир реальности, текучий, подвижный до неразличимости добра и зла; с другой же стороны, стараясь закрепится в сфере высшего, там, где катафатичность и апофатичность взаимно дополняют друг друга.

Что еще не позволяет отнести теономную этику к богословию? Это ее почти неизбежная «еретичность», или внедогматичность, если сказать мягче. Она вся на грани теологуменов, но в целом состоит из свободы мыслей свободного исследования при всем риске обвинения в непоследовательности и даже беспринципности. Содержа в себе свой внутренний кризис, противоречие и постоянно генерируя из него новые идеи, она строится между божественным и человеческим, оставаясь, по-видимому, фатально более человеческой, поскольку она **этика**, а не чистый Закон или Нравственность. Ее религиозность также постоянно будет подвергаться сомнению и испытаниям, потому что в ней много светского и научного, включая и метод. И все же, вставая на это во всех отношениях зыбкое основание, мы усматриваем смысл предприятия в исследовании тех путей, которые должно пройти и по которым ступает современное разорванное сознание, стремясь обрести мир с высшим, с самим собой и с тем, что в иерархии бытия находится ниже человека. [Вопрос о конституциональности теономной этики стоит особо: следует осветить историю термина, провести лингво-исторический экскурс]. Какие же учения, взгляды, системы можно отнести, несмотря на волю их основателей и авторов, к теономной этике? Все, которые так или иначе, в той или иной форме утверждают богозаконный характер нравственности. Выделить в нравственном божественное можно путем простого обращения к текстам Священного Писания, но при этом надо помнить о том, что они являются сакральным объектом, опосредованным человеческим восприятием. Здесь-то и видится основная трудность данного вида этики: кто докажет и что подтвердит факт наибольшего соответствия того или иного учения смыслу божественной заповеди? Таким образом, появляется риск потери курса в море истолкований, вариаций, трактовок, разномыслия. Но стоит ли этого бояться, если движение в историческом времени способствует выделению устойчивых, истинных оснований, принципов и положений, если ошибка сопровождается чуть ли не каждый шаг свободы. В любом труде кроется опасность непредсказуемых и непредвиденных последствий: самое худшее, говорит словница, – извратить лучшее. Цепью таких извращений опутаны и знаменитые учения. И все же: разум способен отделить истинное от ложного, опираясь на эту способность, он и во тьме заблуждений отыскивает верный путь. Надеемся, то же самое случится и с теономной этикой, несмотря на те пери-

петии, которые ей пришлось и еще предстоит пережить. Кроме того, в истории общества и его мысли весьма значим и играет роль прецедента такой феномен, как теократия. Теократическое государство практически самое дерзновенное из всего, что было предпринято на земле на путях продвижения к Небу. Его религиозная и идеальная стороны в современности до такой степени ослаблены, что теократические (в основном – мусульманские) страны вряд ли переживают период расцвета, если не сказать о противоположном. Что за причины? Они таковы же, каковы, в сущности, законы действительности, оказывающие искажающее воздействие на идею на путях ее претворения в жизнь. Князь мира сего не желает уступать добровольно небесам землю, постоянно и недремно насаждая на ней плевелы, которые способны заглушить дивный сад. Царство Божие достигается трудом, подвигом труда и борьбы, и вверженность человека в мир, сопротивляющийся духу, еще и еще раз это подтверждает. По сути, теократию и теонормную этику вводил в своем «Государстве» Платон – там правило высшее божество: Справедливость и ее законы и проявления подчиняли себе весь греческий Космос, все мироздание эллинского интеллекта. Законы подлунного мира мы называем объективными, хотя в них отражается субъективный дух природы, которая, как известно, наделена и собственной творческой силой (*natura naturans*). С силой природы и ее субъективностью человеку приходится считаться, он выстраивает с ней отношения разного типа и разной судьбы, в которых одно постоянно: человек не может быть вне природы и без нее, и *volens nolens*, должен вступать с ней в отношения нравственные. Словом, какой бы аспект теонормной этики мы ни взяли, всюду находим материал, являющийся объектом и предметом этики традиционной. Как вариант теонормной этики может рассматриваться этика ответственности, что не исключает и ее сугубо картикулярного, светского характера, ввиду очевидной важности светских и специфических проблем и предлагаемых решений, до тех пор, пока не встает вопрос о предельных целях и основаниях. Теонормная этика выдвигает, как это и наблюдается в любом разделе знания, приведенного в систему, и свои, ей только свойственные, концепты. К ним можно отнести «абсолют», «свободу», «совесть», «добро», «зло», «всеединство» и др. – они лишь по форме, но не по существу и, особенно, не коннотативно совпадают со смыслом и значением, которые имеются в других областях знания.

Резкий распад сущего и должного с точки зрения теонормии осмыслен в остро трагедийной форме у С. Кьеркегора, В. С. Соловьева, В. И. Несмелова. Что дало, к какому итогу привел русского мыслителя титанический труд по этике «Оправдание добра»? Одним из важных выводов его явилась почти резиньяционное «Всем помогать и никого не обижать». Иммануил Кант, создавший чуть ли не на научной основе свой категорический императив, смог его выносить и дать появиться на свет только в условиях почти полной изоляции от бурных течений жизни. Тяжести земного бытия, его деформирующего притяжения не вынесла ни одна фигура титанов человеческого духа: все они так или иначе уступили ей, были «дезаурированы» временем и смертью, болезнью и другими тяжелыми жизненными испытаниями. Катастрофы мировых войн и революций потрясли мыслящий дух Европы, и он не смог остаться безучастным к собственной судьбе. Одним из ответов был безбожный вид экзистенциализма, сделавший человека смыслоносителем и своей, и объективной природной жизни. Эта мужественная позиция нуждалась в оценке и

утверждении, конечно же, того, кто превосходит всякую экзистенцию, но она искала опоры лишь в самой себе и не знала выхода к объективно высшему. В одном ряду стоит с ним и персонализм, сделавший свободную теологию руководством к персоналистской революции духа: он тоже бежит от действительности, удаляясь в способность умирать как высший тип свободы. Острейшим образом почувствовал противоречие между желанием жить по-божески и невозможностью осуществить его в безбожном мире В. И. Несмелов. Его теология открыто смотрела в глаза безумного мира, стремящегося немедленно стереть и самый след, даже намек на идеал и совершенство. «Человек **все** в возможности и ничего в действительности», – печально резюмировал Соловьев итог своих раздумий. Жизнь противоречива и страшна, говорил Л. Н. Толстой, человек постоянно окружен оболочкой смерти, и, когда он выполняет свое земное предназначение, в действие вступает одна из ближайших причин, которая ведет его к гибели. Что же, прав Фрейд, рассматривавший смерть как равновесное состояние мира, а жизнь – как его нарушение? Но вот какую идею можно почерпнуть у Соловьева: истина **дана**, это истина христианства, провозглашенная «первенцем от мертвых». Задача людей – вместить ее в себя, освоить и усвоить, раскрыть, развивать, действовать в соответствии с ней. В молодости своей, в 1881 г., он попробовал действовать «теономно», по-божески, обратившись к новому царю с призывом помиловать убийц своего отца, который был, вероятно, самым лучшим государем за всю историю России, помиловать его убийц ради правды Божией, которая ведь говорит четко и ясно – не убий. На это последовало суждение о нем его императорского величества как о «чистейшем психопате». Да, дело ведь шло не о Царстве Божием, а об остановлении кровавой реки революционного террора с помощью силы и террора монархии. Каждая сторона билась за собственную правду и каждая призывала себе на помощь имя Божие. Соловьев позднее напишет о желательности и возможности видеть во всяком заблуждении то зерно истины, на основе которого оно выросло и действует. Но где отыскать ту вершину, которая помогла бы обозреть с высоты неоглядное пространство человеческих страстей и увидеть то единственно верное в этом бушующем океане жизни, к чему люди должны направлять свои физические и нравственные усилия? Как определить это «общее дело» и ту часть индивидуальной работы, которая должна быть выполнена каждым? Либо способность личности свободно определяться одна тут играет решающую роль несмотря на наличное бытие, данность истины и даже ее формальное признание. Соловьев предпринял попытку разгрести эти завалы. И что же у него получилось? Да вот, довольно земная система: думать и теоретизировать о высшем дано не всем людям, а только избранным, следовательно, немногим. Остальные должны работать сообразно своим способностям, т.е. не пытаться судить «выше сапога». В то же время наличие высших форм бытия не упраздняет низших, т.е. наличие умных не отменяет бытия не таковых, но должно приподнять его, иными словами, все-таки увести от глупости.

Но если вся ценность этики вообще заключается в том, чтобы человек не потерял уровня должного, то теологическая этика ведет его к высшему, к Богу, и в этом она находится в союзе с религией. Однако если бы ее законы были направлены на уравнение всех и вся, то она была бы только нивелиром, а человек приобрел бы статус существа, подлежащего хотя и высшей, но все же стандартизации. Загадка Высшего состоит в том, что Оно, давая закон

низшему, подчинено ли само каким-то законам, вплоть до самозаконности. Но если этот, автономный для Высшего закон обнимает своим пространством и Его, и человека, то все же человек – не Бог, и воспринять то, что выше его, он может лишь в трансформированном или адаптированном виде. Отсюда притчи Христа. Поэтому мы можем вывести свой «закон возрастания теонмии» в сознании и поведении человека с ростом его душевно-духовных качеств и просветлением телесности. В каком-то смысле этот закон можно было бы назвать «коэволюционным»: растет и разворачивается человек – растет и развивается в нем постижение глубины и сути божественного закона. Такой или подобной ей схеме противоречит религиозный факт негреховности и бессмертия первозданных людей: эволюция, в этом случае, началась с высшего, проходит стадию низшего, а затем поднимается к уровню нового высшего, более богатого, чем первичное единство человеческих существ и Создателя. Это напоминает приключения Абсолютной идеи Гегеля в самоотчужденном инобытии и ее возвращение к себе в более богатых условиях нового тождества. Итак, ясно, что Закон не универсальный «гребень», который призван вычесывать все, что не укладывается в его параметры. Дело обстоит куда сложнее, и ближайшая идея, которая могла бы нам здесь помочь, – это идея единства многообразия. Стяженное единство можно в плане теонмии представить только в виде одного образа – теоцентрической картины мира, и в этом бессмертная заслуга Средневековья. Бог – Личность и человек – Личность, хотя в тот период не было понятия личности в его современном значении. Этика персонализма, стало быть, может развиваться в рамках теонмии. Но каковы же характеристики и задачи личности? Именно из личности, ее сущностных определений и жизненных мотивов должна строить новая Этика свою модель пребывания в мире, его расширения (очеловечивания) и построения перспектив. Большинство задач организуется вдоль оси: Личность (Бог) – личность (человек). Сразу же нам возразят в том смысле, что укажут на несоизмеримость вводимых категорий. Да, это так, но ведь и вся философия выросла на почве несоизмеримости божественной и людской мудрости, когда, чтобы не просто преодолеть свою животность и природную (натуральную, материальную) ограниченность, но и чтобы не потерять свое человеческое лицо, мудрец повел «человеков» к Высшему. Постоянные падения обществ, государств, цивилизаций заслоняют от нас правду каждой единичной смерти. Между тем человеческая личность есть ценность для Бога, и иначе быть не может в свете ее достоинства и свободы. Экзистенциализм (религиозный), персонализм, русская религиозная философия, теологические построения, религиозная этика – вот далеко не полное поле, которое дает плоды теонмной этике. Однако она не является своего рода приживалкой, которая кормится за чужой счет, но содержит собственные, генерирующие ее изнутри и дающие ей право на существование мотивы, проблемы и основы. О некоторых из них мы сказали выше, о других же стоит сказать более подробно.

Что есть личность в плане теонмии? Существо, обладающее разумом, самосознанием и сознательно подчиняющее себя Высшему в области различения добра и зла, нравственных ценностей и оценок. Вот каким может быть первый ответ. Но сразу же ровность этого ответа взрывается идеей личности как свободно принимающей решения, как автономного образования, способного к ответу, ответственности, постановке целей и задач, определению путей их решения, т.е. личность – это то, что постоянно выходит за свои налич-

ные пределы, перешагивает данность Я, трансцендирует. Выходит, ее перешагивание имеет границы и условия в виде Закона, в нашем случае – моральной его стороны, или нравственного закона. Для Канта и В. С. Соловьева он обладал такой мощью, что способен был прорубать дорогу в потусторонний мир – «знаменитые три постулата Канта, тезис о посмертном воздаянии; право на доброе имя после смерти и т.д.; соловьевские размышления в статье «Лермонтов» о том, что человек (духовно) не может претерпевать после смерти трансформации произвольные, не обусловленные его предыдущим нравственным состоянием: нравственное развитие человека там, в посмертном заповедье, начинается с той ступени, на которой оно остановилось здесь, на земле. Следовательно, ни о какой реинкарнации, метемпсихозе речь идти не может ввиду тезиса о единстве и целостности личности, а мы еще добавим – и ее единственности, уникальности, т.к. без уникальности нет ни «Я», ни «Тебя», ни «Другого».

Программная статья В. В. Зеньковского под характерным названием «Автономия и теонмия» была посвящена насущной теме возврата к религиозной этике, «теономической психологии», столь противоположным и чуждым рациональному проекту Просвещения. «Лишь отдельные яркие и сильные личности, – писал автор, – начиная со второй половины XVIII в. и все чаще в XIX в. – полагали пути для возврата к религиозному построению жизни и за это нередко – как наш Гоголь – подвергались насмешкам и оскорблению вплоть до обвинения в сумасшествии». Первая мировая война «сорвала все маски», привела к крушению «этического имманентизма, т.е. веры в возможность морали – подлинной и глубокой – вне всякой связи с трансцендентным миром, с Богом. Автономия или теонмия – так может быть формулирована та основная и глубочайшая противоположность, которая уже волнует вновь современную душу: определяется ли этическая жизнь и творчество изнутри, или мы нуждаемся для этого в помощи «свыше»?».

Историк русской философии и сам выдающийся философ и педагог, о. Василий Зеньковский подчеркивал, что суть дела состоит не в кризисе этических теорий, моральной философии в целом, а в том, что налицо кризис морального сознания в самой исторической действительности, а не только в идеологической сфере, ее отражающей. Как же понимается о. Василием термин «теонмия»? Он делает акцент на то, что христианству чужда не только автономия, но и гетерономия, поскольку эпоха «законничества» с приходом Христа кончилась. Христианство разомкнуло личность, понимая ее как церковное, соборное целое, неповторимое своеобразие которой раскрывается только через Христа. Христианство открыло и утвердило человеческое сердце как источник свободного движения любви в нас, но «...личность свободна не сама по себе и не сама для себя, но свободна вместе с другими в таинственной связности всех в живое целое – в тело Христово – в Церковь». Акцентируя психологический аспект теонмии, автор одновременно выступает с утверждением, что моральная жизнь в нас есть функция церковности, которая означает невозможность бытия без Бога.

Закон Божий и «законничество» разводятся В. В. Зеньковским в своих этических и психологических следствиях с ориентацией на православие. Но возникает вопрос: можно ли понимать теонмию как универсальную, метарелигиозную, «интерконфессиональную» основу? По-видимому, да, и пово-

дом к этому служат универсалии моральных норм, так тесно связанных с требованиями религиозных заповедей.

Задача соотношения теонмии и автономии постоянно выдвигается вперед, а значит имеет трансвременную форму и нуждается во все новых подходах и решениях. Но, с другой стороны, исторична ли сама человеческая личность? Если принять доводы науки, а на них мы обязаны опираться и считаться с ними, несмотря на собственно религиозный корень наших воззрений, ведь наука – квинтэссенция человеческой мысли, – итак, если наука говорит о времени, когда еще не только личности, но и человека в собственном смысле не было, то значит личность есть нечто становящееся, появление чего в потоке социального мы могли бы с большей или меньшей точностью фиксировать. Научная фиксация, даже вне строгих рамок периодизации, склонна остановиться на Европе, эпохе Возрождения. Но были ли тогда личностями Адам и Ева, Авраам, Исаак и другие выдающиеся люди библейской древности? Многие из них, как Моисей, ходили под знаком и сенью божественного закона и выступали медиаторами, посредниками между двумя мирами, Богом и людьми. А ведь Моисей, как и другие пророки, не был лишен ярких индивидуальных признаков. Где же граница между личностью и яркой индивидуальностью? Ее устанавливает психология, и концепции, которые она предлагает, могут быть действенными и в нашем варианте. Но что такое, например, коллективная личность (соборная личность), может ли быть у социальной группы, общности свое лицо, например «личность» еврейской нации (народа) или какой-либо еще? Причем мы имеем в виду народ не как субъект, не носитель каких-то, пусть даже самых значительных, дифференциальных признаков, но как их распорядитель и владетель, т.е. в той же степени, в какой личность владеет собой – не исключительно психологически, но всецело, вплоть до последней черты. Спрашивается, применимо ли это к теонмии, для которой все мы – чада Божии, и нет и не должно быть условия, разрешающего действовать в отношении себя с абсолютной свободой, т.е. произвольно? Может ли, в принципе, произвол совпадать с абсолютной волей, или одно исключает другое, во всяком случае – ограничивает другое? Важно подчеркнуть, что определение закона как особой моральной «привязи», на которой держатся животные и вообще – нечеловеческие – инстинкты человеческого существа, также важная сторона теонмной психологии и нравственности.

Если понимать закон как установление, обладающее творческой силой, то в таком случае вопрос о свободе становится более осмысленным, он получает адекватное обрамление как с формально-логической, так и с содержательной стороны. Если же цель и назначение закона – в установлении границы, запрета, то он соответствует юридическому пониманию закона и законности. Но ясно, что эти два закона неэквивалентны, иначе бы человек имел юридическое и моральное право вопрошать Высшее о справедливости допущения смерти, болезни, несчастий ни в чем неповинных людей, о справедливости сокрытия последствий смерти, справедливости тайны запределья и т.д. Главное – о справедливости и конкретике посмертной судьбы. Но ничего этого нет, нет никаких ответов Высшего на конкретные (да и абстрактные) вопросы «второго абсолюта», отсюда – человечество заключило в немалой части своей, что оно только одно и есть в мире, и больше и выше его ничего нет. Вот первый акт несчастного атеизма, второй же состоял в столь же трагическом богоборчестве. Небеса молчат: знают одни. Небеса постоянно

общаются с нами – уверены другие. А третьи говорят, что все это вообще не имеет смысла, т.е. является не больше, чем плодом фантазии. Конечно, теонормная этика не может оставить в стороне ни один из житейских вопросов, столь существенных для этики научной, однако подразумевается, что на все эти известные вопросы она имеет или должна будет выработать собственный взгляд, обусловленный, прежде всего, устройством и функционированием вертикали: Личность – личность. Что вообще может дать теонормия личности, если в полноте своей (в сегодняшнем ее состоянии) она (личность) не может, да и не желает вместить в себя данное как дар свыше? Живя под знаком тварного существа, зависящего от Творца, она по-разному может оценивать эту интеллектуально-чувственную сферу, и в отношении к ней можно уже сейчас выделить следующие типы: а) подчинение, смиренное «раб божий»; б) уничижение (само-); в) восторженное поклонение; г) экзальтация; д) мистическое чувство связи и близости; е) пророческий дар; ж) страх и трепет (Кьеркегор); з) благоговение (Соловьев); и) упрямство; к) отвержение; л) бунт; м) асебия... и т.д. Конечно, эти «экзистенциалы» лишь сердцевина сложных, тесно переплетенных до синкретического единства переживаний, глубоких, интимных, каково настоящее религиозное чувство. Но здесь нет лекала, нет стандарта. Вспомним, например, упорное неверие апостола Фомы, которое родилось ведь не от отступления от веры, а из простого желания удостоверения через осязаемый, действительный облик Учителя. Теонормная этика, должна принять решение о конечном или бесконечном характере личностной сферы, когда вмещаемость Высшего определяется ростом и прояснением образа и подобия в ней. Тогда Закон возрастает в человеке в бесконечной перспективе, которая может быть отмечена особыми завершающимися этапами, в себе конечными путями развития. Иными словами, здесь ставится проблема нравственного прогресса общества и личности, причем социум понимается в виде теократии, а личность составляет его структуру: это общество личностей как невиданная доселе социальная картина. Но обо всем этом трактует и персонализм. Это верно, однако он дает лишь *вариант* теонормной этики, разрабатывает только ее персоналистическую сторону, между тем, дело обстоит так, что все богатство мировых связей и отношений должно пройти через теонормную методологию. Может ли Высшее позволить относительному, тварному существу быть ему почти равным, по крайней мере – обладать многими способностями, которых нет у других природных существ, обладать способностью творчества, созидания, открытия новых горизонтов, построения новых миров? Можно, в сущности, ответить на данный тезис утвердительно, ведь в целом общечеловеческая мощь самоочевидна, несмотря на отдельные факты бессилия перед стихиями или непрогнозируемыми последствиями. Вспомним хотя бы миф об Асклепии, который уже достиг искусства воскрешать мертвых. Но в том-то и дело, что человеческая мощь, доросшая до «гальванизации», не может идти дальше «хлебных заветов» Великого Инквизитора. Она плодит бесконечные потребности, и творчество оказывается пойманным в тесные рамки непрестанных требований капризного комфорта. А где же высшее предназначение? И есть ли оно? Если да, то в чем, если нет – то как быть в конечном мире конечному существу, которое и хочет, и боится быть бесконечным? Как быть всему тому, что объединено понятием обыденности, реальной жизни? Соловьев как будто бы нашел выход в модели всеединства, где высшие сферы не отрицают низших,

а дают им только «должное» в общей системе, функционирование. Но что это может означать конкретно, в переводе на простой язык? А это значит, что иерархия неизменна и несокрушима, и в нормальном виде она только являет образцы правильного соподчинения низшего высшему в отличие от того хаотического движения, вплоть до инверсий, которые наполняют данную жизнь. Значит, хлебопашец, образно говоря, всегда останется хлебопашцем, он только будет очень хорошим, идеальным хлебопашцем и при этом нравственно высокоразвитым. Конечно, такое толкование соловьевского положения вряд ли приличествует его философскому достоинству, и мы приносим извинение за то, что в целях ментального эксперимента смоделировали столь тривиальную ситуацию. С другой же стороны, как же иначе, если, по мысли философа, тот, кто не обладает способностями мыслителя, философа, пусть знает свое место и, определенный земле, пусть не рвется к Небесам. Но все ведь слышали потрясающую обычный мир заповедь – заповедь как закон: «Будьте совершенны как совершенен Отец наш Небесный». Попробуйте ее не просто принять к сведению, но и исполнять как законную волю Творца. Однако «жестокость» в неисполнении сразу же каралась, о чем говорит история древних евреев. Хотя в жестокости можно бы было увидеть и залог святого богоборчества, залог достоинства народа, его свободы, самостоятельности и осознания исключительности своей миссии на земле. Человечество, рассмотренное как второй абсолюте, дает нам новое понимание отношений плана «Бог – человек», а именно – перевод этих отношений в положение «сотрудничества» (Вл. С. Соловьев). Усилия двух центров приблизиться друг к другу могут составить особый предмет теонормной этики.

Список литературы

1. **Киселев, Ю. А.** Современная западная философия религии / Ю. А. Киселев. – М. : Мысль, 1989. – 285 с.
2. Теологический энциклопедический словарь / под ред. Уолтера Элвелла. – М. : Ассоциация «Духовное возрождение», ЕХБ, 2003. – 1488 с.
3. **Гильдебранд, Д. фон.** Этика / Д. фон Гильдебранд. – СПб. : Алетейя, 2001. – 569 с.
4. **Свешников Владислав, протоирей.** Очерки христианской этики / Владислав Свешников – М. : Паломникъ, 2001. – 624 с.
5. **Зеньковский, В. В.** Автономия и теонормия / В. В. Зеньковский // Путь. Орган русской религиозной мысли. Кн. 1 (I–VI). – М. : Информ-Прогресс, 1992 (Репринтное издание). – С. 301–315.

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье раскрываются философско-методологические и теоретические основания прикладных исследований в современных социально-гуманитарных науках. Обоснован триангуляционный подход в социальных исследованиях, представляющий взаимодействие методов наблюдения, интервью и анализа документов. Проведено сравнение позитивистской методологии количественных исследований и феноменологической методологии качественных исследований.

Научный подход к социальной практике ориентирует специалистов на необходимость исходить из эмпирических исследований при выборе процедур социальной диагностики, экспертных оценок и, тем более, социальной терапии. Научные исследования определяют перспективы, методы и подходы, на которые опирается социальная практика; способствуют формированию базы знаний, необходимой для профессиональной деятельности в социальной сфере; помогают принять конкретные решения, осуществлять социальные программы или проекты.

В свою очередь, научные социальные исследования, к которым прежде всего может быть отнесено изучение общественного мнения в социологии, политологические, социально-антропологические, социально-психологические, социально-педагогические прикладные исследования, а также комплексные исследования в социальной работе, предполагают соответствующее методологическое обоснование, выявление их философских оснований. Решение подобной задачи представляется перспективным направлением теории социального познания.

Социальное исследование соприкасается с теорией в двух отличных друг от друга аспектах. Первый из них находится на «входе», второй – на «выходе» социального исследования. Как считает В. Э. Шляпентох, высказывания о том, что теоретический анализ играет в работе разных социальных исследователей неодинаковую роль, касается, главным образом, того, что находится на «выходе», т.е. продукции исследования [1, с. 45–46]. Такой подход убеждает в том, что философские установки, если они верны, могут служить ученому надежным ориентиром, помогающим найти правильный путь в лабиринте социального исследования.

Так, ученый-обществовед будет исходить из того, что ни в одной области социального исследования объект познания не может быть сразу воспроизведен мышлением во всей его конкретности, во всем богатстве его сторон и их разнообразных взаимоотношений. В конечном счете, социальный исследователь, как и любой ученый, может воспринимать социальную реальность с помощью уже существующих наборов понятий. Роль понятий в социальной науке отчетливо видна, когда речь заходит о таком первичном элементе социального исследования, как факт.

Философия предлагает различать онтологический и гносеологический аспекты этого понятия. В онтологическом смысле факты в одном случае характеризуют наличие каких-то явлений (предметов и их свойств, отношений между ними, суждений, высказанных людьми), в других случаях – факты

процессов или действий. В гносеологическом плане фактами называются знания, полученные путем описания отдельных фрагментов действительности в определенных пространственно-временных границах.

Может ли понятие факта стать философским основанием социальных исследований? Обратимся к «Науке логики» Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. В «Разделе втором. Учение о сущности», выявляя сущность как основание существования, он определяет основание как «в-себе-бытие сущности». Гегель пишет: «Основание есть единство тождества и различия, оно есть истина того, чем оказалось различие и тождество, рефлексия-в-самое-себя, которая есть столь же и рефлексия-в-другое, и наоборот» [2, с. 281].

Парфразируя Гегеля, отметим, что философское основание социального исследования не спокойно пребывает в самом себе, а, скорее, отталкивает себя от самого себя. Понятие социального факта есть основание лишь постольку, поскольку оно обосновывает социальную реальность; но то, что произошло из основания, есть лишь оно же само, и в этом заключается формализм основания социальных исследований. Когда мы спрашиваем об этих основаниях, мы становимся на точку зрения рефлексии; мы стремимся видеть конкретное социальное исследование как бы удвоенно: с одной стороны, в его непосредственности и, с другой стороны, в его основании, где оно уже больше не непосредственно.

Эта другая сторона социального исследования является его научно-философской методологией. Поэтому анализ самой системы социального исследования должен дополняться методологическим исследованием факторов, детерминирующих построение этой системы; принципов, реализующих ее функционирование; механизмов, осуществляющих действия с объектами исследования на основе предписания соответствующих социальных наук.

Термин «методология» многозначен. Одним из наиболее распространенных значений этого термина является: специальное описание совокупности приемов и методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности или исследовании [3, с. 21–22]. Методология, таким образом, изучает взаимообусловленность, взаимосвязь и зависимость систем социальных знаний и систем исследовательской деятельности.

Методологический и, прежде всего, теоретический аппарат, которым оперирует социальный исследователь, аккумулирует все достижения социальных наук, с помощью которых добываются новые знания. Их роль в производстве знания может быть сопоставлена с ролью средств производства в экономике. Поэтому научно несостоятельна попытка исследовать социальные явления, не опираясь на достигнутые ранее выводы.

Гегель отмечал, что «основание не только просто тождественно с собой, но также и различно, и можно поэтому указать разные основания для одного и того же содержания» [2, с. 283]. Эта разность оснований социального исследования переходит в результате в противоположность, в форму оснований «за» и «против» одного и того же содержания исследования, что особенно заметно на примере противоположности философских оснований «количественных» и «качественных» исследований в социологии.

Если рассматривать конкретное социальное исследование, то оно есть содержание, в котором можно различать несколько сторон: вид исследования, методы исследования, объект и предмет исследования, его цель и задачи, инструментарий и др.

Кроме того, поскольку основание социального исследования не имеет в себе и для себя определенного содержания и можно находить основания как для «количественных» исследований, так и для «качественных», постольку решение того, какие основания могут быть признаны имеющими значение, оказывается предоставленным субъекту исследования – социологу, политологу, антропологу, демографу и др. От индивидуального унастроения и индивидуальных намерений социального исследователя зависит, какому основанию он отдаст предпочтение.

Триангуляционный подход в социальных исследованиях

Объект социального исследования редко бывает одномерным, гомогенным, гармоничным, стабильным. Обычно он отличается многоаспектностью и многокачественностью. В нем присутствуют отголоски многих форм, видов, типов, аспектов социальной действительности. Другими словами, объект социального исследования характеризуется «сложностью», и значит вопрос о технологии исследования превращается из чисто инструментального, вспомогательного в методолого-инструментальный и, следовательно сущностный.

Б. З. Докторов считает, что методология социальных исследований – «это совокупность принципов конструирования и использования опросных методов и технологий. Процедуры, методы и технологии опросов достаточно подвижны, изменчивы и эмпиричны, методология – более консервативна и теоретична» [4, с. 41]. Поиски дефиниций для составляющих процесса социального измерения представляют определенную сложность, поскольку историчны, переменчивы во времени и сам этот процесс, и его научная интерпретация.

Изучение перехода различных теоретических положений и эмпирических методов из одной области социального знания в другую является важной частью историко-научного и философско-методологического анализа. В этом случае, в частности, открывается процесс становления триангуляционного подхода в социальных исследованиях.

Применение триангуляционного подхода в полевых исследованиях принято считать инновацией XX в. В работах английского этнографа и социолога Бронислава Малиновского начала 1920-х гг. впервые появилось детальное обсуждение примененной методики интенсивных полевых исследований в антропологии. Его идеи, касающиеся сбора статистических данных, детальных наблюдений и этнографических выводов, стали основой триангуляционного подхода в полевых исследованиях.

Совершенствование методов социальных исследований в Англии было тесно связано с работами Ч. Бута, С. и Б. Вэбб в области социального реформирования. Возможно, исследование проблемы бедности жителей лондонского Ист-Энда Ч. Бутом было первым, в котором предпринята попытка комбинировать статистические сведения с интервью и включенным наблюдением. В книге супругов Вэбб «Методы социального исследования», вышедшей в 1932 г., и автобиографии Б. Вэбб «Мое ученичество» высказывалась мысль о том, что наблюдения должны быть соединены с другими методами социального исследования, прежде всего интервьюированием и сбором документов.

Свое дальнейшее развитие триангуляционный подход получил в работах социологов Чикагской школы. Исследования, проводимые ими, не были ограничены тем или иным методом. Наоборот, одним из признаков Чикагской школы было широкое использование самых разных методов, которые

комбинировали материал наблюдений с интервью и различными типами документальных источников.

Таким образом, полевое социальное исследование не сводится к единственному методу или технике. Исследователь почти одновременно наблюдает, беседует с респондентами и читает относящиеся к изучаемой проблеме письменные документы. Столь разнообразные методы используются потому, что нет ни одного источника социальной информации, которому можно было бы доверять в достаточной степени для того, чтобы составить полное представление о происходящих событиях и их участниках.

Не случайно А. И. Ракитов характеризует метод, относя его к «типу знания о действиях, необходимых для получения новых единиц знания» [3, с. 81].

Используя комбинацию наблюдений, интервьюирования и анализа документов исследователь способен проверить, а затем перепроверить свои выводы. Он будет опираться на силу каждого метода сбора данных, минимизируя слабости конкретного исследовательского подхода. Такой триангуляционный подход к социальным исследованиям увеличивает общую валидность, перекрывая достоинствами одного метода недостатки другого, и надежность данных социального исследования.

Вместе с тем стратегия триангуляции приносит хорошие результаты не только на стадии сбора данных при изучении конкретного социального явления, но и на стадии анализа данных. Можно говорить о нескольких типах триангуляции, которые способны обосновать результаты полевого исследования, среди которых: «методическая триангуляция» (проверка устойчивости результатов, полученных с помощью разных методов сбора данных) и «теоретическая триангуляция» (использование нескольких теорий для интерпретации данных) [5, с. 308]. Комбинируя теории, методы и источники данных, исследователи получают возможность преодолеть смещение, неизбежное при подходе к исследованию с одним-единственным методом, одним источником данных, одной теорией.

В этом процессе синтетического познания определенная роль принадлежит методу классификации изучаемых социальных явлений. После того, как становится известно, что некоторый круг исследовательских методик обладает простой, элементарной всеобщей определенностью, следующим шагом по пути их познания должно быть их подразделение, классификация на методы «количественного» и «качественного» исследований. Причем на данной стадии, подразделяя методы исследования, мы еще не можем сразу вскрыть их внутреннюю природу, их глубокие отношения как разных видов. Другими словами, мы не можем сразу же в результате классификации составить понятие, отражающее природу, сущность классифицируемых методов.

Некоторые социальные философы скептически относятся к теоретическим потенциам прикладных социальных исследований, не признавая возможность построения новой теории для частных социальных явлений до того, как решены общетеоретические проблемы. Их соображения были бы справедливы, если бы частные социальные явления не обладали известной автономией, если бы их нельзя было рассматривать как самостоятельные системы, функционирующие в определенной среде [1, с. 48]. Данное обстоятельство позволяет выявить теоретические основания методов социальных исследований.

Позитивистская методология «количественных» исследований

Требует уточнения широко распространенное утверждение о том, что философия служит методологией социального исследования. Попытка представить философию как универсальный метод приводит лишь к ее дискредитации. Философия применима как метод решения определенного класса проблем социального познания, которые называются философскими проблемами социально-гуманитарных наук. Именно поэтому позитивизм противопоставил «метафизике» стремление к построению системы знания, враждебного спекуляциям, бесспорного и точного, опирающегося исключительно на факты. При этом содержание такого знания должно быть сведено к непосредственно данному.

Основной постулат философии позитивизма состоит в том, что социальные структуры и все общественные явления представляют собой, по сути, объективную реальность, не зависящую от идей, мнений, стереотипов сознания и поведения включенных в них индивидов. Позитивизм признает неизменность тех структур и функций, которые лежат в основе общества, и то, что само общество есть их совокупность. Из этого следует ограничение идеала социального знания описанием явлений общественной жизни, переживаемых, осознаваемых человеческой психикой.

В позитивистском представлении социология являлась наукой, изучающей закономерности формирования, функционирования и развития общества, что ставило ее в один ряд с естественными науками, такими как физика или биология, целью которых также является познание закономерностей существования и развития различных природных процессов окружающего мира.

В этом смысле социальный факт принципиально не отличается от факта природного явления, и задача социологии заключается в том, чтобы как можно более точно зафиксировать социальные действия, сопоставить их с другими фактами, установить зависимости между переменными, построить теоретические модели тех структур, которые стоят за наблюдаемыми социальными явлениями. Такая позитивистская натуралистическая ориентация во многом определила интерес и приоритетное внимание социальных исследователей к «количественным» методам [5, с. 53–54].

Таким образом, позитивизм истолковывает научные законы в общественности как фиксацию сосуществования явлений и функциональных зависимостей между ними. Но при этом социальные исследователи сталкиваются с проблемой многозначности интерпретации долевых соотношений, на основе которых делаются выводы в анкетных опросах и структурированных интервью. К примеру, опираясь только на «количественные» методы социальных исследований, сложно объяснить, почему чувство удовлетворенности уровнем материального положения в более экономически развитых обществах, как правило, немногим выше, чем в менее развитых.

Для того чтобы конкретизировать идею связи теоретического и эмпирического знания, в методологию социальных исследований вводится представление о наблюдаемых величинах, с которыми должна быть связана социальная теория. При этом наблюдаемым считается не обязательно объект, воспринимаемый в прямом смысле, но объект, который поддается измерению в социальных науках. Э. М. Чудинов отмечает: «Наблюдаемость – это измеримость. Кроме того, во многих случаях существенной оказывается не фактическая, а

принципиальная наблюдаемость» [6, с. 69]. В социальных исследованиях типичным оказывается переход от реального эксперимента к идеализированному (мысленному). В этом случае принципиально наблюдаемым оказывается все то, что может быть измерено в условиях такого эксперимента.

В социальных исследованиях появляется потребность понять значения и смыслы, которые стоят за однозначными анкетными ответами: «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Наряду с анкетными опросами стали применяться иные методы социальных исследований: включенное наблюдение, глубинное интервью, методы «фокус-групп» и др. Однако сочетание «количественных» и «качественных» методов не представляет собой механическое сложение методик позитивистско-натуралистической социологии – с одной стороны и понимающей социологии и символического интеракционизма – с другой. Для понимания сложности задачи такого сочетания методов следует обратиться к теоретическим основаниям феноменологии.

Феноменология «качественных» исследований

Феноменологический подход как основание социальных исследований интересен, прежде всего, тем, что принципиально не признает саму возможность существования только одной «единственно верной» интерпретации изучаемого социального явления или процесса. Феноменология стремится познать логику и истину множества индивидуальных и коллективных миров в противовес единственному объективистскому миру фактов.

Такой подход не требует в ходе социального исследования обозначать для респондента границы знания, но предполагает интерес исследователя к их познанию и соответствующее отношение к респонденту как носителю мира значений и смыслов неизвестной исследователю социальной реальности. В этом случае научное специализированное знание и обыденное, повседневное знание социальных явлений становятся равноправными объектами социологического исследования.

Еще П. Бергер и Т. Лукман в книге «Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания» показали, что научная «реальность», сконструированная на основе теоретических положений и эмпирических исследований позитивизма, – это не единственная «реальность», которая отражает картину мира. Помимо нее существует мифологическая реальность, реальность религиозной жизни, дотеоретическая «реальность» обыденной жизни людей, которая составляет основу повседневного социального знания. Именно это повседневное, обыденное знание должно быть предметом феноменологических социальных исследований.

Вместе с тем феноменологический подход предполагает, что познание такой социальной реальности возможно исследователем, обладающим не всяким жизненным опытом, а только таким, который способен к определенным логическим процедурам, к саморефлексии, сопоставлению пережитых фактов, впечатлений и т.п. (по А. Шютцу). В методологическом плане это ведет к отказу от классических процедур социального исследования по четким операционализациям понятий и замены их на понятия, которые не имеют претензий на универсальный, категориальный характер и максимально приближены к данной конкретной ситуации, к пониманию социального явления в его контексте [5, с. 59].

«Качественные» методы социальных исследований представляют собой реализацию феноменологического подхода к изучению социальных процессов и явлений, где в зависимости от целей и задач исследования основное внимание уделяется изучению способов и особенностей рефлексивности субъектов исследования по поводу социальной реальности и причин такой рефлексивности. Если с помощью «количественных» методов исследований, основанных на методологии позитивизма, в первую очередь выясняется «кто и как отвечает» и «сколько отвечают», то применение «качественных» методов социальных исследований позволяет определить «что означают ответы» и «почему так отвечают представители данной социальной группы». При этом результаты социального исследования являются продуктом рефлексивности исследователя, изучающего рефлексивность респондента по отношению к объекту исследования, т.е. результатом «двойной рефлексивности» [5, с. 75].

Социальный исследователь, исходящий из принципов философии позитивизма, обычно не принимает во внимание то обстоятельство, что проводимые им исследовательские процедуры в определенной мере создают новую социальную реальность и что объект его изучения уже никогда не будет тем же, каким он был в начале исследования. Позитивизм допускает, что под влиянием исследователя может сформироваться мнение респондента, которое не вполне соответствует его действительным представлениям по вопросу, интересующему исследователя. Однако если влияние исследователя не очень заметно, то в «количественных» исследованиях считается, что выявленное мнение в целом правильно отражает объективные социальные процессы, происходящие в обществе.

В свою очередь, феноменологическая методология предполагает, что каждый респондент конструирует собственную социальную реальность, которая может меняться под влиянием внешних условий, например новой информации или внутренних процессов, происходящих в самом индивиде. Исследователь при этом может выступать внешней причиной изменений представления респондента о его реальном мире.

«Качественные» методы социального исследования не противопоставляются «количественным» методам, но и не являются их дополнением. Данное обстоятельство предполагает научно-философское обоснование выбора метода современных социальных исследований.

Современная парадигма социальных исследований

В основе подобного выбора может лежать стремление философов предоставить в распоряжение ученых-обществоведов модель социальных исследований, построенную на абстрактно-теоретических методах анализа, использовании общих схем и парадигм научного познания в противовес индуктивному методу познания. В рамках такой модели нашли бы свое рассмотрение не только специфические проблемы познания социальных процессов и явлений, но и ключевые вопросы самой методологии социальных исследований, возможности ее применения в других областях знаний.

Особенностью модели стало бы то, что в результате проведенной классификации методов «количественных» и «качественных» исследований внутренние отношения между видами социальных исследований не были бы вскрыты. Отношения же между методами социального исследования, кото-

рые выясняются при этом, сводятся к тому, что они, т.е. методы, должны определяться относительно друг друга по принятому основанию деления – позитивистской или феноменологической методологии. На данной стадии выработки исследовательской парадигмы подразделением методов выполняется познавательная задача, состоящая в том, чтобы упорядочить найденные в эмпирическом материале объекты социальных исследований, отличающиеся теми или иными особенностями, хотя бы внешними чертами, и для групп социальных явлений с этими особенностями найти общие определения посредством сравнения указанных явлений [7, с. 142].

Сомнения по поводу философских и методологических основ социальных исследований связаны, как правило, с вопросом о неадекватности парадигм, которые используются исследователями. В частности, имеется в виду то, что заимствованная из естественных наук методика зачастую неприемлема для изучения изменчивых и неуловимо тонких социальных явлений. Взамен предлагаются новые парадигмы, различающиеся в зависимости от представлений о том, что можно считать достоверным социальным исследованием.

Новые исследовательские процедуры имеют много общего с традицией применения «качественных» методов. В этом случае наибольшей достоверностью обладает информация о социальных явлениях и процессах, которую можно получить, что называется, из первых рук. Сложные социальные явления могут быть лучше поняты путем подробного анализа конфигурации событий, причем инструментом такого анализа должны быть, скорее, слова, чем цифры и процентные соотношения.

Сторонники новой парадигмы призывают уделять более серьезное внимание сущности и происхождению социального знания и способам его получения, поскольку возникают расхождения в оценке достоверности научных знаний. Эти расхождения не могут быть преодолены простым сопоставлением фактов и аргументов. У. Рейд считает, что уместным представляется деление подходов к оценке полученного в ходе социального исследования знания на «бескомпромиссные» и «умеренные». Первый подход требует доказательств, основанных на объективных количественных измерениях, с проверкой альтернативных вариантов. Второй подход принимает за истинные выводы, в которых отражаются сложные взаимосвязи и особенности рассматриваемых социальных явлений. Указанные подходы не сводятся лишь к оценке методов конкретного исследования, оба подхода проявляют себя и при разработке теоретических основ социальных исследований [8, с. 385].

Идея предоставить значительную роль методикам социальных исследований, не пользующимся «количественными» методами, лежит в основе новой парадигмы. «Качественные» подходы в исследованиях открывают возможность проникнуть в сущность социальных явлений, что выходит за пределы возможностей стандартной «количественной» методологии. Вместе с тем среди проблем современных социальных исследований выделяются их недостаточная точность и возможная необъективность исследователя.

Точность и беспристрастность являются общим требованием для всех научных подходов и не могут быть ограничены той или иной методологической традицией или философским направлением в социальной науке. Вопросы субъективности, предположительности, альтернативных объяснений в социальных исследованиях могут обсуждаться в ходе дискуссий не только по проблемам методики, но и по проблемам философско-методологических основ современных социальных исследований.

Список литературы

1. **Шляпентох, В. Э.** Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал / В. Э. Шляпентох. – М. : ЦСП, 2006. – 664 с.
2. **Гегель.** Энциклопедия философских наук / Гегель. – М. : Мысль, 1971. – Т. 1: Наука логики. – 452 с.
3. **Ракитов, А. И.** Курс лекций по логике науки / А. И. Ракитов. – М. : Высшая школа, 1971. – 176 с.
4. **Докторов, Б. В.** Отцы-основатели: история изучения общественного мнения / Б. В. Докторов. – М. : ЦСП, 2006. – 488 с.
5. **Ковалев, Е. М.** Качественные методы в полевых социологических исследованиях / Е. М. Ковалев, И. Е. Штейнберг. – М. : Логос, 1999. – 384 с.
6. **Чудинов, Э. М.** Нить Ариадны. Философские ориентиры науки / Э. М. Чудинов. – М. : Политиздат, 1979. – 126 с.
7. Формальная логика / отв. ред. И. Я. Чупахин, И. Н. Бродский. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1977. – 357 с.
8. **Рейд, У.** Исследования в социальной работе / У. Рейд // Энциклопедия социальной работы : в 3 т. / пер. с англ. – М. : ЦОЦ, 1993. – Т. 1. – С. 382–389.

КОНЦЕПТ СОЗНАНИЯ В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ КАРКАСЕ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА

Антропный принцип (АП) фиксирует связь между человеком и вселенной. Человек есть такая часть вселенной, без которой, как утверждает АП, возможность существования вселенной в том виде, в котором она нам известна, вряд ли была бы возможна. В рамках АП логически возможны два подхода. Во-первых, можно утверждать особенность устройства человека-наблюдателя, во-вторых, можно отправляться на поиски ответов на вопросы АП, исходя из утверждения особенности устройства вселенной. В статье рассматривается первый вариант.

Одной из труднейших – и наиболее важных – задач философии является прояснение различия между теми свойствами мира, которые внутренне присущи ему... и теми, что зависят от наблюдателя.

Дж. Серл [1].

Изучать сознание – пожалуй, одно из самых парадоксальных занятий. Парадокс ситуации в том, что сознание изучает само себя. Сознание выполняет функции инструмента, критерия и понимающей инстанции в процессе собственного познания. Однако нет иного способа работы с сознанием, кроме вопрошания его о нем самом.

Возможно, космические одиссеи будущего откроют другие формы разума, узнавая которые, человек полнее поймет себя. Однако межзвездные полеты – это дело отдаленного будущего, но уже сегодня человек-астроном, вооруженный техникой, охватил своим наблюдением гигантские просторы вселенной и с удивлением обнаруживает ее загадки, которые могут оказаться ключами к тайнам человека. Именно это утверждает антропный космологический принцип (АП). АП фиксирует загадочную согласованность двух крайних точек универсума – самой вселенной и наблюдающего ее человека.

Однако АП сосредоточенно разрабатывает космологические вопросы, оставляя в небрежении концептуализацию наблюдающего сознания. Указанный пробел предполагается, по мере сил, восполнить в данной статье и выявить онтологические схемы АП, исследуя которые, можно попытаться найти конгруэнтные концепции сознания.

Концептуальное разнообразие антропного принципа

АП был предложен в 70-х гг. XX в. как ответ на вопрос: почему вселенная устроена такой, какой мы ее наблюдаем? Какой «механизм» отбирает сущее из бесконечности его потенциального разнообразия в ограниченность актуального существования? АП утверждает в этом качестве человека.

Было предложено множество формулировок, объединяемых в две магистральные версии – «слабую» (СлАП) и «сильную» (СиАП). Значительно

различаясь между собой, обе версии АП фиксируют важность наблюдателя в системе «вселенная–человек». И СлаАП и СиАП предполагают, что, возможно, наблюдатель имеет самое непосредственное отношение к тому, что он наблюдает; возможно, наблюдаемое определяется наблюдателем.

Версии АП различаются мировоззренческой наполненностью, что фиксируется уже на уровне названий – «слабый» и «сильный» АП. СлаАП содержит «несильные» утверждения о системе «человек–вселенная» и принимает современную естественнонаучную картину мира. СиАП предлагает дерзкие концептуальные проекты системы «человек–вселенная», порой экзотические, идущие в разрез с современной научной картиной мира.

В СлаАП предполагается, что, возможно, наблюдатель видит все таким, каким видит, потому что наблюдает вселенную, находясь в особенном месте или особенном времени вселенной. Наблюдатель в другой точке пространства–времени увидит все устроенным иначе. Возможно также, утверждает СлаАП, что наши организмы работают как фильтры и отбирают только такую информацию о внешнем мире, которую они могут воспринять. Таким образом, загадка гармонического устройства вселенной кроется либо в особенных пространственно-временных условиях наблюдения, либо в особенности устройства тела наблюдателя. Телесно-пространственно-временные условия искажают результаты наблюдений человека, внося в них, возможно несуществующую в реальности, гармоничность.

В СиАП, допускающем более «сильные» утверждения о вселенной, разрабатываются *четыре* варианта ответа о загадочном устройстве вселенной. *Во-первых*, наиболее активно и плодотворно разрабатываются космологические версии АП, известные по формулировке Б. Кратера, среди которых наибольшим авторитетом пользуется идея Мультиверсума – космологической бесконечности миров, в которой существование одной особенной вселенной уже не загадка. *Во-вторых*, предложены две квантовые версии вселенной: первая – на основе «многомировой» интерпретации квантовой механики Х. Эверетта, вторая – на основе концепции Дж. Уиллера о квантовом «соучастии» наблюдателя в творении вселенной. *В-третьих*, выдвинут футурологический вариант АП, в котором разум понимается как движущая сила развития вселенной. *Четвертый* вариант СиАП – теологический, трактующий АП в духе аргумента от замысла.

Онтологии антропного принципа: квантовая и макрообъектная схемы

Все концептуальное богатство АП укладывается в две альтернативные онтологии: первая строится на основе физики макрообъектов; вторая – на основе теорий квантовых объектов, квантовой механике.

Вселенная, понятая как система макрообъектов, подразумевается в СлаАП и в космологических версиях СиАП. СлаАП формулируется, например, так: «Наблюдаемые значения всех физических и космологических параметров не являются случайными, их числовые значения ограничены требованием существования таких областей во вселенной, где углеродная жизнь может возникнуть, и тем условием, что вселенная достаточна «стара» для этого» [2, р. 16]. Космологический вариант СиАП наиболее известен в формулировке Б. Кратера: «Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей» [2, р. 21].

Макрообъектная онтологическая схема АП раскрывается, по меньшей мере, в трех тезисах. *Во-первых*, утверждается субъект-объектная структура действительности в системе «наблюдатель–вселенная». *Во-вторых*, субъект понимается в рамках деятельностной парадигмы: *наблюдатель* есть активная компонента, «занятая» созерцанием вселенной. *В-третьих*, СиАП есть сущностно эволюционный принцип: вселенная понимается как темпоральная система, имеющая в своем космологическом развитии, по крайней мере, две вехи – дочеловеческую и человеческую.

Квантовая концепция вселенной составляет ядро двух версий СиАП: антропного принципа соучастника (АПС) и АП в сочетании с моделью квантового многомирия.

Дж. Уиллер так формулирует АПС: «Наблюдатели необходимы для того, чтобы сделать вселенную существующей» [2, р. 22]. Дж. Уиллер исповедует классическую версию квантовой механики, в соответствии с которой при взаимодействии наблюдателя и квантовой системы происходит редукция всех состояний системы за исключением одного, фиксируемого наблюдателем. Человек есть редуцирующий трансформатор квантовой неопределенности в классичность действительности.

СиАП в формулировке Б. Картера, совмещенный со многомировой интерпретацией квантовой механики Х. Эверетта, иначе описывает поведение вселенной при взаимодействии с наблюдателем. Согласно Х. Эверетту, в результате взаимодействия реализуются все возможные состояния квантового объекта, но в разных мирах. Мир ветвится, реализуя все состояния. Субъект, наблюдатель, находит себя только в одном классическом мире, не подозревая о существовании других миров.

Несмотря на различие в понимании квантовых механизмов, оба варианта квантовой механики одинаково трактуют вселенную – как квантовый объект, приобретающий классические свойства только после взаимодействия с наблюдателем. Из двух квантовых версий СиАП наибольшее внимание специалисты уделяют многомировому варианту квантовой механики. Именно он и будет рассматриваться далее.

Концепт сознания в макрообъектной онтологии: эволюционно-деятельностный подход

Макрообъектная онтология АП определяет возможные пути концептуализации сознания, совместимые с этой онтологией: это должно быть решение в рамках эволюционизма и в рамках деятельностного подхода. Эволюционная эпистемология К. Поппера, К. Лоренца и Г. Фоллмера; радикальный конструктивизм Э. фон Глазерсфельда, а также Сантьягская теория познания, разрабатываемая Ф. Варелой и У. Матураной, – исходят как раз из эволюционно-деятельностных представлений о действительности. Есть основания полагать, что последняя из перечисленных концепций во многом суммирует тезисы К. Поппера, К. Лоренца, Г. Фоллмера, излагая их в образной, афористичной манере. Научная позиция Э. фон Глазерсфельда близка концепции Ф. Варелы и У. Матураны, с той лишь разницей, что Э. фон Глазерсфельд не считает возможным говорить о какой-либо реальности, за исключением сконструированной человеком, в то время как Ф. Варела и У. Матурана исходят из существования некой базовой, фундаментальной реальности.

Сантьягская теория познания возводит свое здание на концептуальном фундаменте оригинальной теории жизни – автопоэзисе. Термин «автопоэзис»,

предложенный У. Матураной в 1973 г., составлен из греческих слов *auto* (само) и *poiesis* (создание, производство). Автопоэзис отличает живое по двум свойствам: по способности постоянно самовоспроизводиться и способности сохранять автономность от внешней среды. Концепция автопоэзиса рассматривает живое как систему, существующую в вечном потоке замен материальной структуры при неизменности формы сети – неизменности паттерна системы. Паттерн системы определяет циклы ее жизнедеятельности, алгоритм операций, позволяющий воспроизводить ей саму себя.

Сантьягская теория познания, принимая тезисы автопоэзиса, добавляет, что живое имеет еще один признак: живые системы обладают свойством самообучаться. Область познания живого совпадает с областью «проживания». Жизнь длится как процесс познания. Мир не существует до познания как готовый набор сущностей, расположенных для познания. Мир творится в процессе его узнавания-проживания самой автопоэзной системой.

Однако система творит не в полном произволе. Мир автопоэзной системы предзадан биологией самой системы. Жизнь-познание детерминируется биологией. «Весь когнитивный опыт, – утверждают Ф. Варела и У. Матурана, – включая познающего на личностном уровне, коренится в его биологической структуре» [3, с. 14]. Внешний и внутренний миры познающего утверждаются в своих свойствах биологией.

Действительность конструируется наблюдателем. Конструктор опыта запряган в наблюдающем теле. Биология наблюдателя вырезает слой действительности из бесконечного разнообразия непознаваемой реальности: реальность, согласная с биологией наблюдателя, им познается; реальность, не нашедшая опор в биологии наблюдателя, для него не существует. Наблюдающее тело – автопоэзная система, способная познавать, – живет в мире, созданном ею самой по лекалам, заготовленным ее биологией.

Но автопоэзная познающая система – это неслучайный сгусток живой материи, а закономерный результат длительного развития, размеченного веками эволюции. Таким образом, закономерность системы детерминирована эволюционной историей ее развития.

Важно подчеркнуть, что человеческий язык также возник в результате эволюционного развития человека. Отсюда следует радикальный вывод о том, что область использования языка ограничена и совпадает в своих границах с областью функционирования познающего тела. «Язык никогда никем не изобретался только для того, чтобы воспринять внешний мир. Следовательно, – утверждают Ф. Варела и У. Матурана, – язык не может быть использован как орудие для открытия этого мира» [3, с. 207]

Таким образом, понимание сознания, конгруэнтное макрообъектной онтологии АП, концептуализируется в рамках эволюционно-деятельностного подхода: сознание есть продукт эволюционного развития биологического вида *homo sapiens*. Сознание функционирует как процесс конструирования действительности, процесс, заданный направляющими биологической эволюции.

Концепт сознания в квантовой онтологии: многомировая концепция сознания

В 1957 г. Х. Эверетт выдвинул многомировую концепцию квантовой механики, альтернативную копенгагенской интерпретации. Х. Эверетт предложил отказаться от постулата редукции, принятого в копенгагенской интер-

претации, гласящего, что в момент измерения происходит редукция квантовой системы, и она принимает одно состояние из множества возможных, утрачивая, редуцируя, прочие состояния. Согласно Х. Эверетту, редукции не происходит: в результате взаимодействия квантового объекта и измеряющего прибора происходит реализация всех возможных квантовых состояний объекта, но в различных мирах. Вселенная «ветвится», порождая изолированные миры, в которых реализуются все потенциально возможные состояния объекта.

Несмотря на свою экзотичность, интерпретация Х. Эверетта находила и находит именитых сторонников, среди которых такие крупные физики, как Де Витт, Дж. Уиллер. В России идеи Х. Эверетта развивает физик М. Б. Менский в так называемой Расширенной Концепции Эверетта. Ядро его концепции – в тезисе «отождествления»: сознание отождествляется с механизмом отбора действительности из квантового множества реальностей. «Функция сознания состоит в том, – постулирует М. Б. Менский, – чтобы выбрать один из альтернативных эвереттовских миров» [4, с. 644]

М. Б. Менский предлагает понимать многомировую модель Х. Эверетта как двухуровневую реальность: «неквантовая», классическая действительность, в которой живет человек, есть лишь фрагмент фундаментального квантового мира. Согласно М. Б. Менскому, классический мир – это только иллюзия, образованная сознанием на основе квантовой реальности. «Представление о том, что лишь один, выбранный сознанием, мир реален, – это лишь иллюзия, возникающая в сознании» [4, с. 117]. Сознание наблюдателя отслаивает из бесконечности квантового мира лишь один, который воспринимается наблюдателем как действительность.

Действительность есть иллюзия, но иллюзия необходимая. Очевидно, что жизнь может существовать только в предсказуемом, классическом мире. «Видя вокруг себя предсказуемый мир, живое существо может выработать оптимальную стратегию выживания в этом мире» [4, с. 188–189]. Квантовый мир непригоден для жизни по своим свойствам: он сущностно неклассичен, а значит непредсказуем.

Обоснование своей радикальной концепции М. Б. Менский видит в возможности оригинального решения труднейших проблем естествознания и философии: проблемы уменьшения энтропии в развивающихся системах, проблемы направленности времени, проблемы свободы воли. Согласно М. Б. Менскому, энтропия убывает только в «классических» мирах, в самом же квантовом мире, лежащем в основании всех «классических», энтропия остается постоянной: «Квантовый мир как целое, – поясняет М. Б. Менский, – обратимый, и его энтропия остается постоянной. Энтропия ограниченных регионов квантового мира может возрасть»¹.

Направленность времени, утверждает М. Б. Менский, есть свойство иллюзорного мира, образованного сознанием на основе фундаментального

¹ Mensky M. B. Reality in quantum mechanics, Extended Everett Concept, and consciousness. physics/0608309. <http://arxiv.org> (arXiv – электронный архив публикаций по физике, математике, компьютерным наукам, количественной биологии. Содержание архива отвечает академическим стандартам Корнельского университета (Cornell University). Каждая статья архива имеет уникальный буквенно-цифровой номер, по которому сообщение находится на сайте архива. Номер статьи стоит в библиографической строке перед названием сайта).

квантового мира, где нет направления времени: для квантового объекта нет различия между прошлым, настоящим и будущим.

Ссылкой на квантовые свойства фундаментального мира автор решает и парадоксы свободы воли.

Итак, проблема сознания в рамках квантовой онтологии АП концептуализируется в двухуровневой реальности, в которой сознание функционирует как фильтрующая перегородка, трансформирующая неопределенность квантовой реальности в предсказуемость классической действительности, путем выбора-отсекания единственного варианта из множества альтернатив.

Концептуализация сознания в антропном принципе

В каркасе АП концепт сознания выстраивается как *конструктор* реальности, приводимый в движение требованиями *биологической эволюции*. В концепции Ф. Варелы и У. Матураны сознание, вооруженное приспособлениями, доказавшими действенность в ходе эволюции, создает действительность на основе неведомой реальности: человеческая действительность, таким образом, есть конгломерат эволюционно-ценных свойств, который есть лишь некая часть бесконечно большой реальности.

М. Б. Менский начинает свою концептуальную работу там, где останавливаются Ф. Варела и У. Матурана. Неведомая реальность – это квантовый мир, фундирующий человеческую действительность. Сознание конструирует действительность, работая как механизм актуализации классической действительности, из бесконечности альтернатив квантовой реальности. Движущей силой, толкающей человека к созданию классического мира, оказывается опять же эволюционная необходимость. Классический мир создается сознанием в целях выживания.

Обе онтологии понимают сознание как *«вторичную» онтологическую сущность*, свойства которой задаются более фундаментальным процессом – биологической эволюцией. Сознание в целях собственного выживания выкраивает классический мир объективной действительности из безбрежности, немыслимости фундаментального мира. Таким образом, свойства сознания формируются эволюционным потоком.

Эволюция понимается как более старший онтологический процесс по сравнению с сознанием. Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, в концептуальном каркасе АП сознание *не есть изначальная, субстанциальная сущность*. Сознание понимается как результат развития органического мира. Во-вторых, сознание, будучи результатом эволюционного развития, предназначено для применения в целях выживания человека, т.е. человек познает действительность лишь постольку и настолько, насколько это необходимо для его выживания. Область человеческого познания ограничена областью жизнедеятельности, направленной на выживание человека.

Значит все тайны сознания скрыты в загадках эволюции, эволюции мира как целого, прошедшего ряд трансформаций от элементарной частицы до разумного человека. В концептуальном каркасе АП вопрос о том, что же такое сознание, превращается в вопрос о сущности эволюции: откуда приходит новое, и куда устремлены метаморфозы эволюции?

Концептуализация сознания в рамках АП имеет существенный недостаток. Рассмотренные концепции сознания не рассматривают его внутренний план. Сознание понимается в ряду феноменов физической действительности.

Возможно, внутренний план сознания может получить свою концептуальную разработку в этической версии АП, согласно которому вселенная имеет этическое измерение, находящее свое отражение в человеке. Этическая версия АП строится на радикальных, с точки зрения современного естествознания, допущениях. Если в рассмотренных версиях АП человек конструирует физическую вселенную из некоей фундаментальной реальности, работая по лекалам, заготовленным эволюцией, то этическая концепция АП допускает существование еще одного аспекта вселенной. Этическая версия предполагает, что наравне со звездами человеку предзадан и нравственный закон. Отсюда следует, что внутренний план сознания есть лишь фрагмент внутреннего плана вселенной.

Список литературы

1. **Серл, Дж.** Открывая сознание заново / Дж. Серл. – М. : Идея-Пресс, 2002. – С. 21.
2. **Barrow, J. D.** The Anthropic Cosmological Principle / J. D. Barrow, F. J. Tipler. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996.
3. **Матурана, У. Р.** Познания / У. Р. Матурана, Ф. Х. Варела. – М. : Прогресс-Традиция, 2001.
4. **Менский, М. Б.** Человек и квантовый мир / М. Б. Менский. – Фрязино : Век 2, 2005.

ИНТОНАЦИЯ – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ

Одним из важнейших компонентов языка является интонация. Интонационный уровень речевого звучания имеет сложное строение и выполняет многообразные функции. Компоненты речевой интонации универсальны, но их предпочтительная значимость, способы акустического выражения и характер взаимосвязи со смыслом, синтаксическим строем и ритмической организацией высказывания варьируются от языка к языку.

Язык, как известно, представляет собой «систему систем». Просодика образует подсистему субкомпонентов в рамках фонологической системы языка. Каждый субкомпонент (их подборки могут отличаться в разных языках) обладает своими единицами, моделями, правилами. Прежде всего нужно сказать об основаниях выделения просодики как таковой.

В настоящее время в работах по изучению звучащей речи можно встретить такие термины, как «просодия», «просодика» и «просодемика» [1]. Особенно большое различие существует в отношении терминов «просодия» и «просодика». Просодия выступает, в основном, как понятие субстанционального плана, относящееся к физиолого-физическим средствам реализации звучащей речи. Характеризуя просодию звучащей речи, обращаются обычно к таким физическим характеристикам речевой волны, как частота основного тона (в Гц), интенсивность (в дБ) и длительность (в мс) [2].

Определение просодики чаще всего не дается – вместо этого перечисляются либо языковые явления, традиционно относимые к области просодики (ударение, тон, интонация), либо их корреляты (мелодика, длительность, интенсивность, паузировка и др.).

Просодическое явление существует для обслуживания языковых единиц, принадлежащих определенному функциональному классу (например, слово, синтагма, предложение); одно и то же просодическое средство встречается при разных единицах данного функционального класса, т.е., например, один и тот же тип ударения – в разных словах, один и тот же интонационный контур – в разных предложениях и т.п.

Каковы же функции просодических средств? У разных просодических средств – разные функции.

Одним из важнейших компонентов языка является интонация. Интонационный уровень речевого звучания имеет сложное строение и выполняет многообразные функции.

Термин «интонация» восходит к латинскому *intonare* – громко произносить. Однако этимологическое значение слова не покрывает современного терминологического его содержания. Интонация – сложное явление, она состоит из ряда компонентов. Подобно звукам речи, интонация описывается с

помощью четырех акустических параметров: частоты основного тона, спектра, интенсивности и длительности.

С перечисленными акустическими параметрами в интонации, а также в теории и практике выразительного чтения обычно соотносят основные компоненты интонации: ударение, мелодику, темп и тембр. Для описания речевой интонации существенны и паузы.

Ударение представлено определенным образом в системе языка, которая в целом существует для обеспечения речевой коммуникации.

Для интонирования речи принципиально значимы словесное ударение и ударения смысловые – синтагматическое, фразовое и логическое.

В вопросе о словесном ударении рассматривают два аспекта: его фонетическую природу и его место в слове.

Вопрос о фонетической природе ударения – один из сложных для всех языков. Обычно считается, что понятие «ударение» – относительное и что какой-то слог в слове отличается от других теми или иными присущими ему фонетическими качествами, которыми не обладают другие слоги. Фонетика и должна выяснить эти фонетические средства, комбинации которых в разных языках различны.

Фонетических средств, которыми в любом языке может характеризоваться ударный слог, четыре: длительность, сила, качество, высота.

Длительность ударного гласного является для русского ударения его основным характерным свойством, но не единственным, и возможна она потому, что в русском языке не существует фонологически долгих гласных. В языках, не имеющих фонологического противопоставления звуков по долготе, большая или меньшая протяженность звука не нарушает фонемного облика слова, не изменяет его значения. Однако отклонение длительности в ту или другую сторону от обычной среднестатистической, характерной для данного звука в данной позиции, становится информативным для интонации (ср.: *Это Таня?* (нейтральный вопрос) и *Это Та-а-ня?* (удивление)).

Факторы, определяющие длительность данного речевого сегмента, разнообразны как по природе, так и по степени влияния на данный признак. Для интонационных исследований особый интерес представляет длительность гласных. Именно увеличение (реже – уменьшение) длительности гласных, особенно ударных, используется в разных языках для выражения интонационных значений.

Разные звуки требуют для образования и восприятия различного времени. Так, глухие щелевые согласные почти вдвое превышают по длительности сонанты в той же позиции. Этот факт, известный под названием собственной, или внутренней, длительности звука, для гласных играет сравнительно небольшую роль, хотя на материале разных языков отмечено, что гласные высокого подъема при прочих равных условиях имеют меньшую длительность, чем гласные низкого подъема, причем различия эти находятся выше слухового порога различения. В русском языке специфическая длительность гласного тем меньше, чем более передней и закрытой является его артикуляция.

Другой фактор, определяющий длительность гласных, – это их позиция в слове и слоге. Из наиболее общих закономерностей следует отметить большую длительность гласного в открытом слоге, особенно в абсолютном исходе слова, и сокращение длительности гласного (по сравнению со средней) перед глухими согласными. Влияние согласных, окружающих гласный, на его длительность неодинаково: влияние последующего сильнее, чем пред-

шествующего. Вызываемые позиционными условиями различия в длительности гласных сопоставимы с различиями в собственной длительности гласных или даже превышают их. Отмечается также зависимость длительности гласного от длины слова: в русском языке с увеличением количества слогов в слове длительность его ударного гласного имеет тенденцию сокращаться, что можно рассматривать как проявление общей закономерности – сокращения длительности каждого элемента при увеличении их числа в речевой единице. В частности, отмечается меньшая средняя длительность звуков в длинных фразах по сравнению с таковой в коротких.

В языках, в которых одним из фонетических средств словесного ударения является увеличение длительности гласного, позиция гласного относительно места ударения оказывается одним из наиболее мощных факторов, определяющих длительность этого гласного. Русский язык безусловно относится к числу таких языков. В немецком языке, где долгота гласного создает особые фонемы, противопоставляющиеся кратким, это свойство не может быть использовано как основное в ударении.

Второе отличительное свойство ударения – это сила звука, с помощью которой выделяется ударный слог. Силовое ударение является физиологически результатом усиления мускульного напряжения, что отражается акустически на большей громкости звука. В русском языке сила звука входит в состав признаков ударения, но она не является главным.

В немецком языке различают по силе три степени ударения: главное (сильноударные слоги), второстепенное (слабоударные слоги) и нулевое (безударные слоги). Каждая из этих трех степеней имеет свою морфологическую обусловленность, в основе которой лежит принцип семантического веса морфемы.

Главным ударением в простых и многих производных словах бывает отмечен корень слова, например: */Abend*, */Gesellschaft*, */Dämmerung*, */lustig*, а в сложных словах, состоящих из нескольких корней, главное ударение получает корень определяющего компонента (он, как правило, первый).

Второстепенным ударением бывает отмечен, прежде всего, определяемый компонент сложных слов, например: */Arbeits buch*, */Friedens kämpfer*, а также некоторые суффиксы, например: */Freund schaft*, */Sicher heit* и др.

Третье относительное свойство ударения – качество гласного, которое может быть абсолютным его признаком и состоит в том, что гласный произносится ясно и четко, что придает ему акустически особый тембровый характер. Что касается контрастирования гласных ударных и безударных слогов по качеству в немецком языке, то оно отсутствует, поскольку в немецком языке нет качественной редукции гласных.

Четвертый признак ударности – высота тона, выделяющая ударный слог. Такое ударение носит название музыкального. В русском языке словесного музыкального ударения нет, и с ним нельзя смешивать повышение и понижение тона во фразе, которое имеется и связано с ее синтаксической структурой.

Русское словесное ударение характеризуется контрастированием ударных слогов с безударными как по силе мускульного напряжения, так и по длительности и качеству их звукового состава. Длительность и качество гласных могут использоваться в русском языке как признаки словесного ударения, потому что они не являются фонематическими. Именно поэтому большая длительность и качественная определенность звукового состава ударного слога в русском языке реализуется, главным образом, за счет гласных, кото-

рые противопоставляются по этим признакам подвергающимся сильной редукции гласным безударных слогов.

Немецкое ударение в слове, так же как и русское, в основе своей динамическое. Однако оно отличается от русского ударения: во-первых, оно сильнее, чем русское; во-вторых, в немецком языке увеличение длительности ударного слога не носит такого абсолютного характера, как в русском языке, поскольку длительность гласных в немецком языке служит фонематическим признаком. Вследствие этого в ударном слоге в немецком языке могут употребляться как долгие, так и краткие гласные. В безударном слоге и те, и другие оказываются более краткими, чем в ударном слоге. Немецкое словесное ударение характеризуется контрастированием ударных слогов с безударными в основном по силе мускульного напряжения.

С точки зрения места ударения в слове различают языки со связанным ударением и свободным ударением. При связанном ударении оно всегда стоит на определенном слоге слова. В языках со свободным ударением оно может находиться на любом слоге слова, хотя каждое слово имеет свой определенный ударный слог, что нередко выполняет и семантическую функцию слова (*дол/рога, дорол/га*).

Русский язык относится к числу языков со свободным ударением, которое определяется для каждого слова не фонетическими правилами, а связано либо с лексикой, либо с грамматикой. Поэтому вопрос о месте ударения в русском языке труден, т.к. ударение слова, в сущности, – традиция (*молодежь – /молодость – молодой*).

Кроме того, существуют дублиеты, например: */иначе* и *и/наче*.

Сильное влияние оказывают профессиональные языки, например, произносят: */шофер, ком/пас* и др.; все эти ударения хотя и не приняты в норме, однако все время распространяются, и традиция едва ли сможет удержать старое произношение, считающееся правильным, т.е. *шол/фер, /компас*.

В русском языке одни слова могут иметь постоянное ударение (*сол/бака – солбаки – солбакой*), другие – подвижное (или переходящее) (*ру/ка – /руки*).

Нужно также учитывать, что в процессе эволюции строя языка словесное ударение может возникать или исчезать в связи с изменяющейся ролью слова в устройстве и функционировании языкового механизма, а это предполагает переходные периоды с факультативным использованием ударения. Примером может служить слово *музыка*, произносимое с ударением во втором слоге еще в XIX в., теперь только – */музыка*. Затем – *библио/тека*, слово, которое еще недавно произносилось с ударением на *о* – *библ/и/отека*.

Таким образом, в русском языке словесное ударение (в отношении его места) определяется как свободное и подвижное и характеризует каждое слово.

Немецкий язык относят чаще всего к числу языков с морфологически связанным ударением, т.к. ударение связано с определенной морфемой слова (с корнем, приставкой или суффиксом). При этом различная степень силы ударения дифференцирует морфемы.

Морфологическая связанность немецкого ударения выявляется также и в том, что оно неподвижно. При изменении формы слова оно не передвигается на другой слог (*/Monat – /Monate*).

Немецкое словесное ударение сохраняет, как правило, свое место в слове также и при образовании новых слов от корня (*/Kauf – /kaufen*).

Вследствие своей морфологической связанности и неподвижности немецкое словесное ударение подчиняется ряду правил, в основе которых лежит морфологический принцип.

Закрепление германского ударения на основе слова способствовало непрерывному возрастанию грамматической релевантности порядка слов. Все это не могло не влиять на ритмическую организацию высказывания [3].

В германских языках ударение есть признак единицы, которую называют ритмической группой, ударной группой, стопой, тактом и которая состоит из ударного слога плюс возможные безударные. Ритмическая группа германских языков не совпадает со словом – лексико-грамматической единицей, т.к. не все слова немецкого языка имеют начальное ударение. Германская ритмическая группа может включать части слов и даже слогов, поскольку первый согласный ударного слога может переходить в ближайшую ритмическую группу.

Однако никто на этом основании не отрицает существования словесного ударения в германских языках. Причина, видимо, в том, что членение, обеспечиваемое просодикой, не всеми исследователями ставилось в связь с членением лексико-грамматическим. Сиверс прямо утверждал, что членение на слова – «дело грамматика и лексикографа», требующее «глубокого умозрения», в то время как с точки зрения «фонетико-ритмического» членения предложение «распадается прежде всего на речевые такты, а последние в свою очередь могут распадаться на слоги» [4, с. 231–234]. Аналогично А. И. Томпсон считал, что ритмическое расчленение речи на такты никак не соотносится с делением ее на слова [5, с. 228–229]. Германское ударение в тексте коррелирует с ритмической группой, а не со словом.

Несмотря на «нормальность» ситуации, при которой слово германских языков разрывается границей ритмических групп, статистически преобладают случаи, когда за счет частотности инициального ударения ритмическая группа и слово совпадают. Учитывая, что ударение, несомненно, присуще слову германского языка в словаре, можно согласиться с реальностью словесного ударения в германских языках и одновременно признать функциональность ритмического членения – его скоррелированность с установлением словесных границ, пусть и носящую в известной мере вероятностный характер. Специфичность германского ударения заключается в особом характере фонетического слова – ритмической группы в германских языках; эта единица может включать в свой состав части слов.

Кроме словесного ударения большое значение для интонирования речи играет синтагматическое ударение. Этот тип ударения связан с понятием синтагмы. Основная функция синтагмы – организовать последовательность слов в семантико-синтаксическое и просодическое единство. Единство синтагмы в звучащей речи достигается просодическими средствами: ЧОТ, последовательностью фонетических слов, полной или звучащей паузой на границе синтагм. Управляются эти средства синтагматическим ударением.

Синтагматическое ударение многофункционально: выделяя в синтагме наиболее важное по смыслу слово и передвигая тем самым остальные слова в интонационную и семантическую «тень», оно способствует правильному пониманию текста, во многом определяет (для говорящего и пишущего) порядок слов в синтагме, содействует фонетической «спайке» этих слов и, занимая конечную позицию, выступает в роли одного из пограничных сигналов

синтагмы. Все это говорит о значимости синтагматического ударения для правильного осмысления речи при слуховом ее восприятии и для правильного интонирования при говорении и чтении.

На нормативную конечную позицию ударения в русской синтагме указывал Л. В. Щерба. Для русской речи в основном характерна прогрессивная последовательность, «в силу которой сильный семантический элемент помещается в конец синтаксического сочетания» [6, с. 389]. Локализация синтагматического ударения в конечной позиции – это закон звучащей неаффективной русской речи. Вместе с тем в русской эмоциональной, аффективной речи довольно часты неконечные синтагматические ударения.

Удачные примеры двойного членения, когда от этого получается разный смысл, привел А. Н. Гвоздев [7]. Фраза: **Как удивили его слова брата** может быть произнесена с двояким синтагматическим членением: *Как удивили его/ слова брата* и *Как удивили/ его слова брата* и др. Это разное членение определяется, во-первых, смыслом, который вкладывает говорящий во фразу, и, во-вторых, возможностями грамматического строя языка, в данном примере употреблением слова *его* в двух различных синтаксических функциях: как прямое дополнение и как определение.

Но различные синтаксические связи одного и того же слова необязательны для различного синтагматического членения, например, Гвоздев дает фразу: **Изучение шумов вообще не входит в нашу задачу**, которая также расчленяется на две синтагмы: *Изучение шумов/ вообще не входит в нашу задачу* и *Изучение шумов вообще/ не входит в нашу задачу*. Но слово *вообще*, являющееся в обеих фразах обстоятельством, изменяет ее значение, будучи отнесено то к первой синтагме, то ко второй. Здесь на первый план выступает семантическая (а также и фонетическая) функция синтагмы. Поэтому синтагма и является до некоторой степени подвижной, т.к. она зависит от ситуации, т.е. от мысли, вкладываемой в нее говорящим, но только поскольку этому не препятствует синтаксическая конструкция.

Выбор места ударения всегда определяется общим смыслом высказывания, а при чтении – осмыслением контекста. Вместе с тем в русском языке существуют нормативные закономерности расстановки синтагматических ударений: для каждой синтаксической группы язык располагает потенциальной нормой позиции смыслового акцента.

Эта норма обусловлена степенью лексической однозначности компонентов синтаксической группы, составляющих синтагму, морфологическим их выражением, взаиморасположением (в пределах синтаксической группы), спецификой соседства – контактного или дистантного, стилем речи и характером контекста. Синтагматическое ударение создает общий ритмический рисунок фразы, наслаиваясь на обычное ударение последнего слова синтагмы и усиливая его. Просодическое же выделение последнего слова высказывания осуществляется фразовым ударением.

Фразовые ударения призваны квантовать текст на высказывания. Подобно синтагматическому ударению, фразовое ударение носит фиксированный характер, всегда помечая последнее слово высказывания любого типа. Фразовое ударение – компонент общего интонационного контура высказывания, за которым закреплена делимитативная функция. В каждом высказывании – одно фразовое ударение.

Интонационный контур высказывания, как уже отмечалось, может включать и другие просодически выделенные слова, кроме последнего, и это

не означает отмены, подмены, сдвига и т.д. фразового ударения: все дополнительные просодические «пики» в рамках высказывания сосуществуют с фразовым ударением, определенным образом с ним взаимодействуя.

Наряду с синтагматическим и фразовым ударениями, имеющими определенное место во фразе, есть еще логическое ударение.

Специфика логического ударения – в особой семантике и в мере выделения акцентируемого слова. Чаще всего логическое ударение связывают с актуальным членением предложения с выделением ремы высказывания. Логическим признается смысловое ударение, особенно четко и сильно акцентируемое, максимально выделенное интонационно (силой и значительным интервалом высоты тона по сравнению со словесным ударением) и выполняющее функцию выделения «психологического сказуемого» [8, с. 30], нового во фразе, или(и) функцию акцентуации элементов скрытого либо явного противопоставления.

В отличие от синтагматического ударения логическое никак не связано ни с синтаксической структурой языка, ни с местом во фразе, т.к. может выделять по смыслу любое слово. Логическое ударение обладает смысловым, или семантическим, признаком.

Если синтагматическое ударение способствует тому, что поток речи становится ясным для слушающего, то логическое ударение дает возможность выражать различные оттенки мысли.

Фонетические средства логического ударения в русском языке по-разному соотносятся с другими типами ударения.

Словесное ударение характеризуется качеством, длительностью и силой, а высота тона не играет роли.

В синтагматическом ударении на первом месте стоит сила и тон, а затем качество и длительность.

В логическом ударении на первом месте стоит сила, качество и интервал по высоте тона между логическим и словесным (или же синтагматическим) ударением, а длительность уже значительно менее важна.

Наряду с перечисленными видами, интонационно значимо ударение эмфатическое, которое всегда выступает как средство логического и одновременно эмоционально-экспрессивного выделения слова. Эмфатическое ударение есть ударение прежде всего эмоциональное – оно служит выражением чувства и может иметь весьма многообразные эмоциональные смыслы и акустические проявления; обычно эмоциональная окраска выражается высотными и тембровыми модуляциями существенно удлиненного ударного гласного в выделяемом слове. Вместе с тем эмоциональное удлинение ударного гласного передает не только некую эмоциональную семантику, но и познавательный смысл.

Так же как и логическое ударение, эмфатическое не связано с синтаксическим строем языка, оно зависит только от смысла, вкладываемого во фразу, т.е. от семантического фактора, однако его семантика совершенно иная, чем у логического ударения.

Так же иная и его фонетическая характеристика, которая меняется в зависимости от различных эмоций. Если эмоции разделить на положительные и отрицательные, то фонетические признаки их выражения будут различны.

Одним из фонетических средств при положительных эмоциях является в русском языке удлинение обычного ударного гласного, связанное с некото-

рым усилением, а также и с более четким качеством, например: *Он такой хоро-оший!*

Если же взять фразы с отрицательными эмоциями, то ударный гласный в слове становится короче, а первый согласный удлиняется: *Ах ты д-дрянь такая!*

При эмфатическом удлинении ударного гласного выделенное слово оказывается и коммуникативно весомым, и средоточием эмоции. Поэтому базой для конкретного изучения подобных логико-эмоциональных ударений может служить описание ударений смысловых.

В мелодической структуре языка используются те же фонетические средства, что и при ударении (мелодика, усиление мускульного напряжения, длительность), однако главным из них является мелодика. Мелодика тесно связана со смыслом, т.е. с семантикой, и с синтаксисом и составляет (в каждом языке по-особому) его мелодическую структуру.

Как языковой фактор, она имеет существенное лингвистическое значение, т.к. благодаря ей мы понимаем все оттенки звучащей речи. Из этого вытекает, что мелодика не может быть субъективной, произвольной. Она должна быть в соответствии и совместно с грамматической структурой данного языка; у говорящего (а также у слушающего) имеются определенные модели русской, немецкой и т.д. мелодики. Не владея ими, говорящие будут лишены возможности понимать друг друга, особенно со всей тонкостью оттенков высказываемого. Говорящий должен при этом использовать существующие в языке мелодические модели согласно с их семантико-синтаксической структурой.

Как обязательная характеристика звучащей речи, мелодика национально специфична, и применительно к каждому языку можно говорить об особой мелодической системе, особом наборе мелодических структур, специфика которых определяется прежде всего связью мелодики с синтаксисом, в частности с основными глубинными семантико-синтаксическими и коммуникативно-синтаксическими отношениями. В русском языке специфика мелодических структур определяется и зависимостью тонального контура от ритмики слова, и от нормативного слово- и синтагморасположения.

Мелодика выступает в русском языке в различных функциях, среди которых можно наметить две:

- 1) грамматическая, или синтаксическая, функция;
- 2) эмоциональная функция.

В первый раздел входят различные синтаксические функции, а именно:

- 1) различение предложений по цели высказывания;
- 2) синтагматическая функция.

Второй раздел – эмоциональная функция, т.е. не только сообщение какого-либо факта действительности, но также и отношение к нему говорящего. Оно может идти в двух планах: интеллектуально-логическом и эмоционально-волевом.

С помощью мелодики осуществляется фонетическое маркирование темы [9].

Различительные возможности отдельных параметров мелодического контура ярко проявляются при описании интонационного своеобразия высказываний разных языков:

1. Для немецкого языка характерен более резкий подъем и более резкое падение тона в ударном слоге. В русском языке движение тона более плавное.

2. Для немецкой интонационной структуры типичны распространенные предтакты, лежащие в нейтральном уровне. Предтакты в русском языке встречаются редко, что обусловлено, прежде всего, отсутствием в русском языке артиклей, которые в немецком языке безударны, и рядом других причин. Русские интонационные структуры начинаются чаще всего с ударного слога, расположенного в среднем уровне. Предударная часть лежит также в среднем уровне.

3. Для немецкой интонационной структуры повествовательного предложения типичны также распространенные затакты, расположенные в низком уровне. В русском языке они встречаются редко.

4. Особенностью немецкой интонации является также нисходящая шкала, в которой падение тона происходит постепенно, распределяясь ступенчато по всем ударным слогам. Безударные слоги примыкают к предшествующим ударным на том же уровне. В русском языке нисходящая шкала не встречается, безударные слоги расположены обычно ниже ударных, что обуславливает более широкий диапазон русской фразы и ее напевный характер, резко отличающийся от интонационной монотонности, типичной для немецкого языка.

5. Наиболее резко различия между немецкой и русской вопросительной интонацией в общем вопросе. В немецком вопросе движение тона на главноударном слоге либо восходящее, либо чаще нисходяще-восходящее, при этом подъем преобладает над падением. В русском языке движение тона восходяще-нисходящее. Предтакт вопроса в немецком языке нисходящий, в русском языке он большей частью отсутствует. Для немецкого вопроса типичен восходящий затакт среднего или высокого уровня, а для русского – нисходящий затакт низкого уровня.

Тесная связь мелодики с тембральными особенностями речи подтверждает правомерность отнесения и тембра к числу компонентов интонации. Тембр важен и для акустической характеристики и восприятия своеобразия отдельных звуков речи, и для интонации. В отличие от длительности, интенсивности и паузы просодический тембр принимает участие, прежде всего, в оформлении фразы, причем преимущественно эмоционально-оценочных типов высказываний [10].

В интонационном членении, в передаче типа связи единиц членения (подчинение – сочинение) – глобально, во фразовом ударении – локально, в значительно меньшей степени – в оформлении интонационного типа фразы принимает участие темп.

Лингвистическая нагрузка темпа состоит в выражении различной важности речевого отрезка для говорящего. Существует определенная связь между темпом произнесения и коммуникативным типом предложения: относительно быстрый темп характерен для вопроса, относительно медленный – для восклицательно-оценочного предложения, что связано с различной степенью интонационной расчлененности этих типов высказываний. Наряду со средним темпом интонационных единиц можно говорить и о динамике темпа. Наиболее общей тенденцией является некоторое замедление темпа к концу единицы, нередко сочетающееся с расположением ближе к концу наиболее важных элементов высказывания.

Темп признается ведущим, определяющим параметром при описании стилей произношения, а также при делимитации текста на фразы и на синтагмы.

Среди компонентов интонации особое место занимает пауза. Под паузой в интонационной теории понимается как собственно перерыв в звучании (физическая пауза), так и воспринимаемый перерыв потока речи, обусловленный изменениями (переломами) в развитии других компонентов интонации (мелодического, темпорального и динамического контуров) [10]. Наиболее вариативна и интересна с интонационной точки зрения длительность пауз внутри высказывания, поскольку она отражает не только факт членения потока речи на смысловые блоки (синтагмы), но и характер смысловой связи между этими отрезками.

Смысловая нагрузка интонационных пауз весьма значительна. Они являются универсальным средством членения речи на интонационно-смысловые единицы (фразы и синтагмы). Само наличие перерывов в определенных местах речевого потока и отсутствие их в других свидетельствуют о разной смысловой связи рядом стоящих слов. Благодаря существованию разных типов пауз (в зависимости от длины и сочетания с другими интонационными средствами) появляется возможность выражения различного характера связи между интонационно-смысловыми единицами. При этом интонационные средства используются преимущественно для выражения степени связи (слабая, средняя, тесная), но в сочетании с лексико-грамматической структурой высказывания конкретизируется и качественный характер связи.

Пауза, по мнению Р. К. Потаповой, может указывать на тему высказывания, следуя за словом или синтагмой, отвечающими теме. Очень часто паузальное указание на тему сопровождается позиционным: слово-тема ставится в начале высказывания и отделяется от остальной части последнего паузой. Такая пауза, как правило, является важнейшей в высказывании, она обладает высокой степенью устойчивости [9, с. 65].

Компоненты речевой интонации универсальны, но их предпочтительная значимость, способы акустического выражения и характер взаимосвязи со смыслом, синтаксическим строем и ритмической организацией высказывания варьируются от языка к языку.

Универсальные особенности интонации, присущие разным языкам, служат для указания на завершенность/незавершенность высказывания, для выражения эмоций, различения аффективных и неаффективных структур, для членения речи на значимые единицы.

Универсальной является мелодика, передающая настроение говорящего, его эмоции. Эмоциональный тон и тембр делают понятными чувства человека, говорящего на иностранном языке.

Универсальный аспект характеристики смысловых ударений проявляется в интонационном разграничении аффективных (эмфатических) и неаффективных (обычных) динамических структур. Два основных типа расположения в высказывании компонентов актуального членения обуславливаются коммуникативным заданием сообщения.

Выбор паузы как пограничного сигнала значимых единиц обусловлен в конечном счете физиологически.

Таким образом, особенности интонации, присущие разным языкам, определяются экстралингвистическими факторами.

Компоненты интонации обладают особенностями, свойственными определенным стилям речи и служащими для их дифференциации в различных языках.

Мелодика может быть средством различения отдельных стилей речи (ср., например, выступление оратора и разговорную речь).

Смысловые ударения также могут быть средством стилевой характеристики. В разговорной речи ударения могут быть малозаметными, а в полном стиле (в речи педагога, например) смысловые ударения максимально выделяются. «Сигналами» стиля произношения служат и особенности темпа. Разговорный стиль характеризуется убыстрением, полный стиль – замедлением темпа.

В экспериментальной фонетике сокращение длительности пауз отмечается в качестве важной приметы разговорного стиля.

Компонентам интонации присущи особенности, специфические для каждого национального языка и связанные с ритмическим строем речи, с ее конструктивно-синтаксической и коммуникативно-синтаксической структурой, с членением речевого потока на предложения и синтагмы, с различением коммуникативной значимости элементов высказывания, а следовательно, с его содержанием.

Национальная специфика этих особенностей интонации определяется тем, что общей ритмической структуры и общих закономерностей синтагматического членения не существует, поскольку входящие в понятие ритмической организации приемы зависят во многом от фонетической структуры слова, от природы словесного ударения, от грамматических способов выражения членов предложения, национально своеобразных.

Список литературы

1. **Потапова, Р. К.** Слоговая фонетика германских языков / Р. К. Потапова. – М., 1986. – 144 с.
2. **Потапова, Р. К.** Об опыте новой кодификации немецкого произносительного стандарта / Р. К. Потапова // Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское образование. – М., 1998. – С. 92–93.
3. **Потапов, В. В.** Речевой ритм в диахронии и синхронии / В. В. Потапов. – М., 1996. – 180 с.
4. **Sievers, E.** Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen / E. Sievers. – Leipzig, 1901. – 330 s.
5. **Томпсон, А. И.** Общее языковедение / А. И. Томпсон. – Одесса, 1910. – 448 с.
6. **Балли, Ш.** Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М., 1955. – 416 с.
7. **Гвоздев, А. Н.** О фонологических средствах русского языка / А. Н. Гвоздев. – М.; Л., 1949. – 168 с.
8. **Щерба, Л. В.** Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л. В. Щерба. – Л., 1958. – 182 с.
9. **Потапова, Р. К.** Коннотативная паралингвистика / Р. К. Потапова. – М., 1997. – 65 с.
10. **Бондарко, Л. В.** Фонология речевой деятельности / Л. В. Бондарко. – СПб., 2000. – 200 с.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНА

В статье рассматривается проблема формирования семантики терминов в истории становления русской юридической терминологии. Исследована роль дефиниции и родовидовых отношений терминов в терминологической системе в формировании терминов с экстенциональным и интенциональным типами значений, а также многозначных номинативных единиц. Рассмотрены прагматические, идеологические и аксиологические факторы, участвующие в формировании семантики юридических терминов.

Исследователи разнообразных разрядов терминологической лексики согласны с тем, что специфику термина необходимо искать преимущественно в сфере семантики, т.к. по своим формальным характеристикам термин, слово и сверхсловные единицы обнаруживают общие свойства (фонетическую оформленность, непроницаемость, лексико-грамматическую соотнесенность у слова и термина-универба, разнооформленность и различную степень сложности у словосочетаний и т.д.). Иногда основой противопоставления слова и термина служит утверждение, что терминологичность как языковое семантическое явление проявляет тенденцию к сближению с логическим понятием. «Терминологичным, – считает Б. А. Плотников, – в обычном слове является то, что А. А. Потебня назвал «дальнейшим значением» слова, т.е. специальные знания о денотате, названном тем или иным словом. Значение слова не делится на «ближайшее» и «дальнейшее», оно в этом плане едино» [1].

С. В. Гринев выделяет разные варианты соотношения лексического и понятийного значений («ближайшего» и «дальнейшего») терминов: 1) полное их совпадение (*водосток, каменщик, арочный мост*); 2) отсутствие лексического значения у заимствованных терминов (*крип, цемент*); 3) осложненные случаи соотношения понятийного и лексического значений, наблюдаемые при полисемии, синонимии и т.д. [2].

А. С. Герд полагает, что «терминологические значения возникают в результате обозначения словом научного понятия и представляют собой один из типов лексических значений слова», хотя «значение термина (выраженное в форме его определения) никогда не передает всех признаков научного понятия, которое всегда шире этого значения и потому никогда с ним не совпадает» [3]. Для того чтобы пояснить это положение, рассмотрим словарную статью с заглавия «залогодатель» в энциклопедическом юридическом словаре: «**Залогодатель** – по гражданскому законодательству РФ должник по обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, которым заложенное имущество принадлежит на праве собственности или на праве хозяйственного ведения. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге» [4].

В данном тексте выделяется собственно дефиниция термина – «по гражданскому законодательству РФ должник по обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, которым заложенное имущество принадлежит на праве собственности или на праве хозяйственного ведения», а также дополнительные сведения, не входящие в понятие, выражаемое термином *залогодатель*. Эти дополнительные сведения представляют собой непонятные семы – лексический фон термина, которые не входят в его значение. Вместе с понятными семами они составляют *концепт*, который является семантической двухуровневой сущностью, включающей в себя понятные и непонятные доли.

Специфика семантики термина особенно четко проявляется при сопоставлении позиции слова, когда оно употребляется как терминологически, так и нетерминологически. В этом случае Н. З. Котелова выделяет три варианта такого соотношения: 1) тождество значения слова в терминологическом и нетерминологическом употреблении; 2) более широкое или, что чаще, узкое значение термина по сравнению со значением общеупотребительного слова; 3) терминологическое значение не принадлежит литературному языку [5, с. 42].

Выше уже отмечалось, что первый тип соотношения слова и термина невозможен в современной терминологии в связи с тем, что, попав в терминосистему, общелитературное слово развивает специфические системные связи с другими терминами и неизбежно изменяет свое значение и концептуальное содержание, хотя этот процесс не всегда адекватно отражается в кодифицированных определениях. Однако в период возникновения древнерусской юридической терминосистемы первый вариант соотношения слова и термина был возможен, что отражало низшую ступень терминологизации слова. Следовательно, терминологическое значение в современной терминосистеме может быть близким общезыковому, хотя и не тождественно ему. Такое положение особенно ярко проявляется в юридической терминологии и заметно на протяжении всей истории ее формирования при терминологизации слов общего употребления (*убийство, драка, небрежность, вещь, ущерб* и т.д.).

В основе значения любого знаменательного слова (термина и нетермина) лежит понятие, причем часто одно и то же. Терминологические значения в указанных примерах отличаются от лексических значений слов определенным уровнем специализации.

Так, включение слов и словосочетаний, возникших в быденном дискурсе, в формулировку норм права в качестве гипотезы, диспозиции, санкции часто свидетельствует о приобретении ими терминологического значения. Это можно видеть на примере легализации ветхозаветной заповеди в древнерусском праве: «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей» [Левит, гл. 19, ст. 27].

Эта статья в Краткой редакции Устава князя Ярослава была сформулирована следующим образом: «Аже пострижеть голову или бороду, епископу 12 гривен, а князь казнить» [6].

В этом случае действие, выражаемое глаголом *постричи*, воспринимается не только как грехопадение, но и как правонарушение, наказуемое определенным образом.

Специфика семантики термина часто понимается как закреплённость его значения в дефиниции. Однако лингвисты, исследующие различные тер-

миносистемы, все чаще приходят к убеждению, что далеко не все терминологические единицы обязательно имеют раскрывающую их значение дефиницию. Р. Ю. Кобрин справедливо заметил: «Утверждая, что термин – это то, что имеет дефиницию, т.е. содержится в соответствующих словарях и справочниках, мы ограничиваем круг терминологии без достаточных на то оснований единицами соответствующего метаязыка, субъективно выделенными авторами толковых и иных терминологических словарей, отнюдь не представляющими метаречь достаточно адекватно» [7]. Иногда отсутствие определения у стандартизованного термина называют «нулевой» дефиницией, присущей самодостаточным терминам, т.е. единицам, у которых существенные признаки понятия содержатся в их буквальном значении. Таким образом, подчеркивается, что терминологическое и нетерминологическое значения часто очень близки. Тем не менее, отсутствие у термина дефиниции – это недостаток терминосистемы, который должен быть преодолен в процессе упорядочения терминосистемы.

Но поскольку юридическая терминология в своем становлении прошла два этапа (донаучный и научный), а также в связи с тем, что в ней объективно присутствуют дефинированные и недефинированные термины, следует, видимо, признать, что и соотношение терминологического и нетерминологического значений может быть различным, что дает возможность оценивать терминологичность как некоторое семантическое качество, характеризующее большей или меньшей степенью. Таким образом, вряд ли можно согласиться с тем, что онтологической основой термина, т.е. основной формой существования реальных терминов, является дефиниция. Наличие у термина дефиниции, закрепляющей терминологическое значение за языковым знаком, можно считать лишь более высоким уровнем проявления терминологичности. Но и дефиниция соотносится с формальным, а не с содержательным понятием. Видимо, именно отсутствие дефиниции у ряда юридических терминов породило порядок, при котором термин, как и закон, подлежит различным видам толкования.

В связи с отмечавшимся ранее и распространенным в терминоведении утверждением, что термин обязательно должен иметь четкую и строгую дефиницию, он определяется как конвенциональная единица. При этом подчеркивается, что термин конвенционален вдвойне: во-первых, потому, что условны как наименование, так и содержание знака-термина, во-вторых, «наименование и содержание могут быть конвенционально лишь принятыми (возникнув, сложившись стихийно), и наименование, и содержание могут быть конвенционально установлены, избраны» [5, с. 124]. По мнению Н. З. Котеловой, субъективное начало в употреблении и образовании термина, такая его условность, изменяет характер существования термина в языке и отличает его от других слов.

Исходя из классификации терминов юристами, которые считают терминами далеко не однородные единицы, можно сказать, что термин имеет как субъективный, так и объективный характер. Например, использование общелитературных слов свидетельствует об объективном характере терминологической системы, которая вынуждена инвентаризировать понятия, отражающие действительность, независимо от воли законодателя, т.к. существует объективная необходимость в регулировании тех или иных процессов, действий, явлений повседневной жизни. С другой стороны, субъективизм

юридических классификаций проявляется в произвольных теоретических или волевых основаниях классификации правовой действительности.

Такое сложное соотношение конвенциональности одних юридических терминов и обусловленности других экстралингвистическими факторами проявляется в характере определений терминов, которые подразделяются на описательные (казуистические), перечневые и родовидовые [8, с. 92]. Последние чаще называют классификационными.

Определение термина при помощи перечня лиц, действий и т.д. – довольно характерный вид дефиниций для юридической терминологии. Такой способ определения термина свидетельствует о расплывчатом характере значения термина, т.к. при этом происходит расчленение понятия. Ср. определение термина *вандализм* в действующем Уголовном кодексе РФ: «Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах» [9].

Многие термины в законе получают описательные дефиниции, особенно часто встречающиеся у составных терминов. Ср.: *конфиденциальность полученной сторонами информации* – «Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подрядчика, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (статья 139), сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны» [10].

Примером классификационного определения может служить дефиниция термина *допрос*: «В уголовном процессе следственное действие, представляющее собой опрос лица по поводу юридически значимых фактических обстоятельств дела» [11]. В этой дефиниции выделяется классификационная сема «следственное действие» и ряд дифференциальных сем, служащих основой видового отличия допроса от других видов судебных действий.

Построение определений через ближайший род и видовое отличие считается идеальной формой дефиниции. Такие дефиниции как нельзя лучше соответствуют предъявляемому к значению термина критерию точности. Но даже такие попытки иногда приводят к расплывчатости значений юридических терминов. Ср.: *умысел* – «одна из форм вины», *неосторожность* – «одна из форм вины» [12]. В этом случае не ясно, чем отличается одна из форм вины от другой, т.к. в дефинициях, если их вообще можно так назвать, не указаны дифференцирующие признаки. Сам родовый термин *вина* толкуется как «психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию или бездействию) и его последствиям» [12]. Если учитывать, что «психическое отношение лица к своему противоправному поведению» – чисто субъективный фактор, то данная категория вообще представляется довольно расплывчатой. Таким образом, строгость, точность значения не могут считаться характерными признаками юридических терминов.

Обсуждая мнение С. С. Алексеева о том, что главной причиной появления дефиниций было стремление внести необходимую точность и ясность в используемую законодателем терминологию, В. М. Савицкий приходит к выводу о том, что, «если термин ясен сам по себе, по своей внутренней форме, не нужно никакого его специального определения...» [8, с. 90].

Таким образом, с семантической точки зрения реально функционирующие юридические термины неоднородны. Среди них можно выделить: 1) тер-

мины, обладающие интенциональным типом значения (*сервитут, наказание*), в котором закреплены качества или свойства, составляющие внутреннее содержание слова, т.е. его сигнификация; 2) термины с экстенциональным типом значения, в котором более четко проступает денотативное значение в силу того, что в нем закрепляется не содержание понятия, а его объем, представляющий множество вещей, денотатов, с которыми соотносится понятие.

Экстенциональным значением обладают термины, употребляемые в широком и узком значениях. Например, термин *защитник* в широком значении обозначает и адвоката, и общественного защитника, и близких родственников обвиняемого; в узком значении этот термин означает лишь общественного защитника. Подобный тип значения присущ терминам, в семантической структуре которых заложена альтернатива, способствующая его ситуативному употреблению, а также многозначным терминам. Альтернатива содержится в дефинициях ряда юридических терминов: *преступление* – «общественно опасное деяние (действие **или** бездействие), посягающее на личность, конституционный строй РФ, а также на иные охраняемые законом объекты» [14]; *заведомо ложное показание* – «умышленное сокрытие фактов сознательным искажением истины свидетелем **или** потерпевшим в суде **либо** в процессе предварительного следствия»; *подлог* – «преступление, заключающееся в подделке подлинных **или** в составлении фальшивых документов»; *плагиат* – «умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы **или** искусства в целом **или** в части» [11] (выделено мной – С. Х.).

Характер соотношения интенционального и экстенционального типов значений в общелитературной лексике и в терминологии различен. В терминологии интенция слова увеличивается вследствие уточнения и специализации его значения, тенденции к однозначному употреблению слова. Соответственно в терминологии сокращается экстенция слова – круга предметов, к которому оно приложимо [13, с. 124]. Так, под термином *оговор* в праве понимают не любое ложное обвинение или клевету, а лишь «показание обвиняемого (подсудимого), потерпевшего, свидетеля, ложно изобличающее другое лицо в совершении преступления» [11]. И все же термины с экстенциональным типом значения довольно многочисленны в юридической терминологии.

Несмотря на тенденцию к развитию однозначности, которую следует рассматривать как проявление терминологичности, в современной юридической терминологии отмечается ряд многозначных терминов. Ср.:

законодательство: 1) «один из основных методов осуществления государством своих функций, заключающийся в издании органами государственной власти законов»; 2) «совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в целом, или один из видов общественных отношений (гражданское З., уголовное З. и т.д.)» [11];

лицензия: 1) «выдаваемое специально уполномоченным органом государственного управления или местного самоуправления разрешение на осуществление видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат лицензированию (например, банковской, частной медицинской, издательской)»; 2) «разрешение на использование изобретения, промышленного образца, полезной модели или другого технического достижения, предоставляемое на основании лицензионного договора либо судебного или административного решения компетентного государственного органа» [14].

Однако следует согласиться с мнением Е. Н. Толикиной, которая считает, что появление у термина нескольких значений свидетельствует не о семантическом, а об ономасиологическом изменении знака [14].

Часто один и тот же термин употребляется с разными значениями в различных отраслях права. Например, термин *залог* имеет разные значения в гражданском праве и в уголовном процессе; термин *заочное рассмотрение дела* – в уголовном и гражданском процессах. Такого рода полисемию можно рассматривать как внутрисистемную отраслевую многозначность, ограниченную отношением термина к тому или иному терминологическому макрополю, т.е. термин однозначен в пределах одного терминологического поля права.

Многие термины права развивают прагматическое значение в сфере функционирования, становясь объектом казуального толкования. Прагматические значения терминов правоведения связаны с их доктринальным толкованием. Однако в сфере фиксации (законодательных актах, кодексах, терминологических словарях) термины права лишены прагматического значения, т.к. толкование, заключенное в них, носит обязательный характер.

Значения ряда юридических терминов могут включать в качестве постоянного компонента идеологический. Так, в русской юридической терминологии в советский период ее развития возник идеологический компонент в значении терминов – классовость понятий. Например, термин *государство* определялся следующим образом: «основной институт политической системы классового общества; осуществляет управление обществом, а в классово антагонистических обществах используется для подавления классовых противников экономически господствующего класса» [12]. Ср. современное определение данного термина в словаре: «определенный способ организации общества, основной элемент политической системы, организация публичной политической власти, распространяющаяся на все общество, выступающая его официальным представителем и опирающаяся в необходимых случаях на средства и меры принуждения» [11]. В данном определении семантический компонент «классовость» исчез. Однако в доктринальном толковании термин *государство* иногда сохраняет эту сему по сей день: «Государство – это организация политической власти, необходимая для выполнения как сугубо классовых задач, так и общих дел, вытекающих из природы всякого общества» [15]; «Государство – это организация политической власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и т.п.) в пределах определенной территории» [16].

Как видим, сема «классовость» в доктринальном толковании осталась, но уже не как доминирующая, а как одна из дифференциальных сем данного понятия. Такое «уравнивание» этой семы с новыми, появившимися в значении термина в последние годы, свидетельствует о стремлении некоторых политических деятелей и юристов, наметившемся после распада СССР и изменения социально-экономического строя российского государства, объявить о деидеологизации общественной жизни, что на самом деле – ничто иное, как факт формирования новой идеологии, стремящейся затушевать классовую сущность вновь возникающих общественных и правовых отношений.

С явлением антонимии в юридической терминологии тесно связана проблема модальности, экспрессивности термина. Ряд исследователей склоняются

к тому, что термин неэкспрессивен и эмоционально нейтрален [17], другие приводят доказательства того, что данный признак лишь желаемый [18].

В. Н. Прохорова высказывает предположение, что в процессе употребления «носителями специальной терминологии» образность и эмоциональность термина, может быть, стираются и остается только слово (имеется в виду термин – *С. Х.*) или словосочетание как условный знак, соответствующий реалии» [19]. Однако мнение о наличии в содержании ряда терминов эмоционально-экспрессивного компонента учитывает лишь свойство формы и никоим образом не затрагивает его содержание. В таких случаях проявляется образно осмысленный признак названия как один из способов знаковой материализации содержания, столь же мало воздействующий на характер последнего, как и другие способы номинации [20].

В терминосистемах часто встречаются термины, образованные на основе метафорического переноса. Обычно такие термины проникают в терминологию из системы общелитературной лексики в разные периоды их формирования. Ср. технические термины: *стакан, палец, хвост*. Однако, войдя в терминологию, подобные слова развивают устойчивые связи с другими терминами, и для специалистов, пользующихся ими, они становятся названиями специальных понятий и теряют образность и экспрессивность. Юридический термин принципиально не может быть экспрессивным, т.к. право, в лице его представителей, которые должны быть беспристрастными, выступает в роли верховного арбитра между добром и злом, правомерным и противоправным. Речь законодателя, текст закона рассчитаны прежде всего на логическое восприятие, а не на эмоции [8, с. 22]. Тем не менее, одна из функций права – оценка явлений правовой действительности и действий, совершаемых людьми в обществе. Право, закон всегда оценивают действия, поступки индивидов по линии: правомерные/неправомерные (противоправные), проще – по линии: хорошо/плохо, или опасно/не опасно (для общества в целом, для законопослушного индивида), большой (*ущерб*)/незначительный. Поэтому в ряде правовых терминов присутствует оценочность, т.е. только один из видов коннотации.

Оценочный фактор считается одним из характерных признаков терминов общественных наук [21, 22]. По мнению В. М. Лейчика, оценочный признак присущ всем терминосистемам, поскольку наука не может быть полностью нейтральна, особенно на этапе первоначального наименования, когда проявляется отношение ученого к обозначаемому явлению. Однако в рамках терминосистемы модальность быстро исчезает. Но термины общественных наук сохраняют оценочный фактор на протяжении всего периода своего существования, т.к. они выражают понятия, актуальность оценки которых сохраняется постоянно.

Оценочный компонент значения термина достаточно устойчив, т.к. он образуется на реальных признаках явлений и выражает мнение об их желательности/нежелательности. Эта оценка не зависит от индивидуального употребления, а потому входит в качестве семантического компонента в значение термина. Она квалифицируется как интеллектуальная оценка социального характера, поскольку обнаруживает связь с рациональным, теоретическим осмыслением действительности [23], а следовательно, не зависит от контекста, в котором употребляется термин.

Оценка одних и тех же номинативных единиц в общем употреблении и в юридической терминологии может не совпадать. Так, слово *укрыть* в об-

щем употреблении несет положительную оценку: «спрятать где-л., защитить, предохранить от кого-л.» [24]. В юридической терминологии термин *укрывательство* отмечен знаком «минус»: «общественно опасная деятельность, заключающаяся в умышленном сокрытии преступника, орудия и средств совершения преступления, его следов либо предметов, добытых преступным путем» [11].

Таким образом, семантика термина обнаруживает как сходство, так и отличия от семантики общелитературного слова. Терминологическое значение – один из типов лексического значения, в основе которого лежит формальное понятие. В терминологии происходит сужение экстенции слова как за счет специализации его значения, так и вследствие ограничения значения слова в составе полилексемных терминов (*принудительное отчуждение, процедура вынесения вердикта*), «интенция которых тем выше, чем больше компонентов входит в словосочетание» [13, с. 125]. Значения ряда юридических терминов включают идеологический и оценочный компоненты. Тенденция к однозначности не исключает наличия в юридической терминологии многозначных терминов.

Список литературы

1. **Плотников, Б. А.** Основы семасиологии / Б. А. Плотников. – Минск : Высшая школа, 1984. – С. 108.
2. **Гринев, С. В.** Введение в терминоведение / С. В. Гринев. – М. : Моск. лицей, 1993. – С. 92–93.
3. **Герд, А. С.** Формирование терминологической структуры русского биологического текста / А. С. Герд. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – С. 13.
4. Юридический энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА–М, 1997.
5. **Котелова, Н. З.** К вопросу о специфике термина / Н. З. Котелова // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970.
6. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. – М. : Юрид. лит., 1984. – Т. 1: Законодательство Древней Руси.
7. **Кобрин, Р. Ю.** О формальных критериях терминологичности и методологическом обосновании работ по унификации и стандартизации терминологии / Р. Ю. Кобрин // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. – Л. : Наука. Ленингр. отделение, 1976. – С. 174–175.
8. **Савицкий, В. М.** Язык процессуального закона: Вопросы терминологии / В. М. Савицкий. – М. : Наука, 1987.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М. : Юрид. бюллетень предпринимателя, 1997.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М. : Юрид. лит., 1996. – Ст. 727.
11. Юридический энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА–М, 1997.
12. Юридический энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1984.
13. **Суперанская, А. В.** Общая терминология: Вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М. : Наука, 1989.
14. **Толикина, Е. Н.** Некоторые лингвистические проблемы изучения термина / Е. Н. Толикина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – С. 60.
15. Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – Саратов : Изд-во СВШ МВД РФ, 1996 – С. 42.
16. **Малько, А. В.** Экзамен по теории государства и права: 100 ответов на 100 возможных вопросов / А. В. Малько. – М. : Фирма Гардарика, 1996. – С. 31.
17. **Левковская, К. А.** Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала / К. А. Левковская. – М. : Высшая школа, 1962. – С. 203.

18. **Прохорова, В. Н.** К проблеме определения границ лексико-семантического образования терминологии (слова двойного функционирования – «потенциальные термины») / В. Н. Прохорова // Терминоведение. – М. : Моск. лицей, 1995. – № 2–3.
19. **Прохорова, В. Н.** Об эмоциональности термина / В. Н. Прохорова // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – С. 156.
20. **Толикина, Е. Н.** Синонимы или дублиеты? / Е. Н. Толикина // Исследования по русской терминологии. – М. : Наука, 1971. – С. 88.
21. **Крючкова, Т. Б.** Особенности формирования и развития общественно-политической терминологии / Т. Б. Крючкова. – М. : Наука, 1989. – С. 110.
22. **Лейчик, В. М.** Особенности терминологии общественных наук и сферы ее использования / В. М. Лейчик // Язык и стиль научного изложения. Лингвометодические исследования. – М. : Наука, 1983. – С. 84.
23. **Широкова, Т. А.** Термины и терминология политической экономии социализма : автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Т. А. Широкова. – М., 1978.
24. Словарь русского языка : в 4-х т. / под ред. А. И. Евгеньевой. – 3-е изд. – М. : Русский яз., 1984. – Т. 4.

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ
«Я-КОНЦЕПТА» В ДИХОТОМИИ «ОБЛАДАНИЕ – БЫТИЕ»
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)**

Статья посвящена одному из самых глубоких и малоизученных концептов: «Я-концепту», отражению личностного начала в языке. Прослеживается четкая взаимосвязь между «Я-концептом» и дихотомией «обладание – бытие». Дается сопоставительный анализ некоторых аспектов отражения «Я-концепта» в дихотомии «обладание – бытие» во французском и русском языках в рамках лингвокультуроведческого подхода.

Лингвистика сегодняшнего времени все больше уходит от изучения языка как системы к изучению языка как формы отражения окружающей человека действительности и самого себя, как средству получения знания об этой действительности и самом человеке. Изучением человека и его взаимодействия с окружающим миром занимается лингвокультурология – наука, отвечающая современным требованиям лингвистики и культурологии (Н. Д. Арутюнова, Е. В. Бабаева, В. В. Воробьев, В. И. Карасик, Н. Ф. Красавский, Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, Н. И. Толстой и др.). В настоящее время лингвокультурология переживает период расцвета. Это связано с процессами мировой глобализации и необходимостью межкультурной коммуникации, с одной стороны, и с потребностью сохранения национальных достояний отдельных культур – с другой. Наибольший интерес сегодня вызывают исследования, являющиеся междисциплинарными. Это вызвано новейшими тенденциями по интеграции различных областей знаний. Многомерное пространство языка и культуры, в котором живет современный человек, делает наиболее актуальным интегрирующий подход, объединяющий различные картины мира, результатом чего должно стать энциклопедическое знание. В этом смысле особую значимость имеют исследования в области сопоставительного языкознания, дающие возможность изучения реалий одного языка в сравнении с другими, что дает более полное представление о картине мира. В самом определении понятия «лингвокультура», данном Т. Н. Снитко в монографии «Предельные понятия в западной и восточных культурах» и представляющемся нам наиболее верным, заложена необходимость сопоставительного подхода при анализе языков и культур: «Лингвокультуру мы определяем как особый тип взаимосвязи языка и культуры, проявляющийся как в сфере языка, так и в сфере культуры и подлежащий выявлению в сопоставлении с другим типом взаимосвязи языка и культуры, то есть в сравнении с другой лингвокультурой» [1, с. 9]. Лингвокультурология сегодняшнего дня связана с когнитивной лингвистикой. Важнейшей задачей когнитивной лингвистики является выявление взаимозависимости структур языка и когнитивных структур, т.е. связь языка и мышления человека. Это привлекает лингвистов и языковедов всего мира. Многие ученые подчеркивают, что становление когнитивного направления проходит в среде неизменно вечных проблем, попытка решения которых связана с желанием понять, «как человек интерпретирует мир и себя» [2, с. 9]. В связи с

этим приоритет отдается антропоцентризму. Данная тенденция предполагает обращение к анализу семантических и понятийных категорий эгоцентрической направленности, изучение роли человеческого фактора в языке. Язык рассматривается как основная общественно значимая форма отражения окружающей человека действительности и самого себя, т.е. как форма хранения знаний об этой действительности, а также как средство получения нового знания. Антропоцентризм определяет сосредоточенность исследователей на человеке, его познавательной деятельности, включающей в себя процессы концептуализации и категоризации окружающего мира. В лингвистике основной единицей, которая вмещает в себя два понятия «язык» и «культура», является культурный концепт (от латинского *conceptus* – понятие). С точки зрения философии, «концепт» – это формулировка, умственный образ, общая мысль, понятие; в логической семантике – смысл имени [3, с. 203]. Толковый словарь русского языка дает определение концепту как «общему понятию, общему представлению» [4, с. 1343]. В лингвистике Н. Д. Арутюнова говорит о концепте как о понятии практической (обыденной) философии, являющемся результатом взаимодействия ряда факторов: фольклор, национальная традиция, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, ощущения и система ценностей. Концепты образуют «своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром» [5, с. 3]. В психологии концепт трактуется как некое мысленное образование, выполняющее заместительную функцию. Любой человек является концептоносителем, имея собственный культурный опыт, культурную индивидуальность. Речевая деятельность индивида определяется концептосферой языка и национальной концептосферой. На уровне речи жизненная ситуация и контекст позволяют человеку осознать, какое из значений слова замещает собой концепт. Эта заместительная функция концепта снимает различия в понимании значения слова. Концептосфера является основным источником формирования концептов, «сферой мысли» [6, с. 67], которая во многом определяет менталитет народа. Например, А. Вежбицкая справедливо замечает, что наличие в «русской концептосфере концепта «судьба» определяет ряд ментальных стереотипов русского сознания, объясняющих непредусмотрительность и надежду «на авось» в поведении русских людей [7, с. 502]. Можно добавить по аналогии, что некоторое свойственное русскому характеру недовольство настоящим, чрезмерные надежды на будущее связаны с понятием «счастье» в русском языке, в отличие, например, от французского, где «счастье» (*bonheur*) – просто «добрый час».

Отношения между культурными концептами и их значениями достаточно сложны, поэтому когнитивная лингвистика и лингвокультурология уделяют особое внимание изучению соотношения языкового значения и культурного смысла.

Можно сказать, что сегодня выделилось два основных подхода к изучению концептов: когнитивный (Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкин, Е. С. Кубрякова, Д. С. Лихачев, З. Д. Попова, И. А. Стернин) и лингвокультурологический (С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Н. А. Красавский, Ю. С. Степанов).

Когнитивный подход включает в число концептов лексемы, значения которых составляют содержание национального языкового сознания и формируют наивную картину мира носителей языка. Согласно такому подходу,

концептами могут считаться любые лингвистические единицы, в значении которых просматривается способ семантического представления. Лингвокультурологический подход относит к числу концептов семантические образования, отмеченные лингвокультурной спецификой, отражающие менталитет языковой личности определенной этнокультуры. Лингвисты сходятся во мнении, что концепты являются единицами сознания, отражающими человеческий опыт информационной структуры.

На фоне многочисленных антропологических исследований в лингвистической науке сегодняшнего времени представляется недостаточно изученным концепт, который является основополагающим для осознания человеческой личности. Речь идет о «Я-концепте», об осознании личностного начала в языке и понимании себя в картине мира. О. В. Кашкина в статье, посвященной этой проблеме, объясняет малоизученность «Я-концепта» в лингвистике его особым статусом в концептологии: «Большинство исследователей подчеркивают качественное отличие Я-концепта от других когнитивных конструкторов, поскольку люди имеют о собственной личности более дифференцированное и многообразное знание, чем о любых иных информационных сферах» [8]. В связи с этим нам представляется интересным проанализировать некоторые аспекты отражения «Я-концепта» во французском, английском и русском языках в дихотомии «обладание – бытие».

Дихотомия «обладание – бытие» является основой многих философских учений и предметов философских споров с древнейших времен. О соотношении «обладаемого», «блага» и существующего – «бытия» говорится в трудах Аристотеля, который писал о существовании всех конечных и переходящих вещей как движения от бытия в возможности посредством категории обладания к бытию в действительности. В отечественной философии наиболее ярко эта тема представлена в трудах Н. Бердяева и С. Франка. Говоря о предмете знания как предмете обладания, С. Л. Франк отмечал, что «каждая личность есть часть бытия вместе со всеми предметами. Поскольку субъект и объект принадлежат к одному и тому же абсолютному бытию, становится возможным непосредственное знание. Знанию необходимо предшествовать то первичное отношение потенциального обладания предметом, вне которого познание и знание столь же немислимы, как невозможно сознательное осуществление какой-либо цели без предвосхищения этой цели или как невозможна никакая деятельность над предметом, которого нет у нас под руками. Мы стараемся показать, что это исконное обладание предметом, предшествующее всякому обращению сознания на предмет, возможно лишь при условии, если субъект и объект знания укоренены в абсолютном бытии, как непосредственно и неотъемлемо присутствующем у нас и в нас первичном единстве, на почве которого впервые возможна раздвоенность между познающим сознанием и его предметом» [9, с. 137].

При проведении некоторого сопоставительного анализа языковых средств выражения понятий «обладание» и «бытие» во французском, английском и русском языках посредством семантического анализа основных грамматических категорий обладания и бытия можно проследить степень выражения личностного начала в языке, отражения «Я-концепта». «Я-концепт», или «Я-образ», – термин, принятый в психологии, восприятие своего «я» в картине мира, неразрывно связан с понятиями «субъект», «личность», а также с соотношением основных грамматических категорий «avoir /

to have / иметь» и **«être / to be / быть»**, определяющих ментальное пространство «обладания» и «бытия». Всем преподавателям-практикам, особенно русского языка как иностранного, хорошо известна первая реакция англоязычных и франкоязычных студентов на русскую конструкцию типа «у меня есть карандаш»:

– Как? Карандаш есть, а меня нет? Где же я?

Основной глагол, определяющий пространство «бытия», – глагол **«être / to be» – «быть»** в современных русских конструкциях, выражающих настоящее время, опускается, а при объяснении английских или французских грамматических конструкций именуется «глаголом-связкой». То, что соотносится с концептом «обладание», переходит в концепт «бытие»: «У меня есть машина»; «У нас есть дом» и т.д.

Давая подробный анализ семантических полей глаголов «иметь» и «быть» в русском языке, Н. В. Друзева отмечает, что «в русском языке никогда не было форм перфекта с глаголом «иметь», тогда как частотность употребления этого глагола в романских и германских языках объясняется наличием форм перфекта и тем фактом, что любое указание на владение чем-либо требует обращения к этому глаголу, в то время как в русском языке и здесь употребляется глагол «быть» [10, с. 285]. В результате «обладание» мыслится в романских и германских языках как активное действие, а в русском – как нечто происходящее помимо воли человека, отнюдь не как проявление собственной активности. Последнее стало поводом к утверждению, что основной религиозной и мировоззренческой идеей русского народа стала идея страдания, которая нашла отражение в языке: конструкция *У него есть нечто*, выражающая идею обладания, предполагает, что активным является именно предмет, а его владелец – лишь страдательное лицо [11, с. 5]. На это же указывает Ю. А. Рылов, проводя сопоставительный анализ русских и итальянских конструкций, выражающих идею обладания: «Тот факт, что обладание чем-то в одних языках (в том числе итальянском) выражается прямопереходной моделью с глаголом типа *иметь*, а в русском языке по линии глагола *быть* с неагентивным субъектом в предложной форме, как бы отстраненным от объекта обладания, представленного в предложении в виде грамматического подлежащего, не может не свидетельствовать об особом – «легком» – отношении русских к собственности» [12, с. 51]. На наш взгляд, такое положение вещей может действительно быть причиной легкого отношения к собственности, либо, наоборот, снижение личностного начала, отражение чего мы четко видим в этой конструкции, может объяснять излишнее возвышение материальных ценностей. С точки зрения языка, интересен тот факт, что концепт обладания в русском языке, скорее, подразумевается, чем говорится, как в значении «субъект и его собственность», так и в выражении квалификативного признака. Рассмотрим такой пример: *У Маши были красивые волосы. Волосы у Маши были красивые*. Анализируя аналогичный пример, Н. Д. Арутюнова отмечает, что в первом случае глагол «быть» имеет смысловое бытийное значение, а во втором – связочное [5, с. 56; 12, с. 51]. Но, если мы возьмем тот же пример в настоящем времени: *У Маши красивые волосы* или *Волосы у Маши красивые*, мы видим, что и в первом, и во втором случае (не важно, речь идет о наличии или одновременно и о характеристике признака субъекта) глагол **быть** опускается, т.е. объект обладания теряет категорию бытийности. В русском языке мы видим явное снижение личностного начала,

предание понятию «обладание» оттенка некоторой «запретности», некоего табу. Что же касается французского языка, который по праву называют «образцовым иметь – языком» [10, с. 254], в нем концепт «обладание» является наиглавнейшим и подразумевает «бытие» через «обладание».

В выражении ощущений во французском языке почти повсеместно используется глагол «avoir», т.е. концепт «обладание» в дихотомии «обладание – бытие», что подчеркивает превосходство субъекта над силами природы и обстоятельствами. Сравним:

Французский язык	Английский язык	Русский язык
J'ai chaud	I am hot	Мне жарко
J'ai froid	I am cold	Мне холодно
J'ai peur	I am frightened	Мне страшно
J'ai honte	I am ashamed	Мне стыдно

Понятие глагола-связки, как мы видим, остается в рамках функционального, структурного восприятия языка, тогда как лингвокультурологический анализ подразумевает осмысление любой грамматической категории. Очевидно, что в идиоматических выражениях, отличающихся очень высокой степенью частотности, типа: *avoir peur, avoir raison, avoir honte, avoir honneur, avoir faim, avoir soif, avoir tort, avoir la possibilite* и связанных с ними фразеологизмах сохраняется первоначальное значение глагола «иметь», и дихотомия «иметь – быть» очень четко прослеживается. В конце XVII в. некоторые из этих идиоматических выражений перешли в русский язык из французского языка: иметь совесть, иметь стыд, иметь вид, иметь успех, иметь значение и т.д. В русском языке они также встречаются достаточно часто, но несравнимо реже, чем во французском, причем используются преимущественно в форме инфинитива или императива: *имейте совесть, имейте стыд, он хочет иметь возможность*. Практически все они могут быть заменены синонимичными конструкциями, свойственными русскому языку с использованием падежной формы и глагола «быть»: «У тебя совесть есть?», «У нас есть возможность» и т.д. Единственное идиоматическое выражение, которое «устояло» под «натиском» синтетизма русского языка, причем не только в форме настоящего времени, но и в форме прошедшего, – это «иметь честь»: *Я имею честь пригласить Вас. Он имел честь познакомиться* и т.д.

Что касается форм перфекта во французском языке, то можно сказать, что вся система сложных времен и их согласования построена по принципу отношения к «личностному», «субъектному» началу и дихотомии «обладание – бытие». Вспомогательный глагол в периферийном значении не уходит из концептуального поля обладания или бытия. Рассмотрим правила употребления вспомогательных глаголов «avoir / иметь» и «être / быть» в формах прошедших времен французского языка. Нормы их употребления сильно эволюционировали с XVII в. до нашего времени, все больше и больше подчиняясь «субъектному» началу и дихотомии «иметь – быть». По сути, вся грамматическая категории перфекта относится к концепту «обладание», т.к. это то, чем мы располагаем, и принцип выбора вспомогательного глагола зависит от принадлежности к понятиям «бытие» и «обладание». Принцип спряжения с глаголом «être / быть» в качестве вспомогательного и согласования с «*participe passé*» основан исключительно на понятии субъектности и

уважении к пространству другого субъекта. Во французском языке с глаголом «быть» спрягаются все глаголы, неразрывно связанные с субъектом, исключая возможность употребления прямого дополнения. При этом *participle passé* согласуется в роде и числе с подлежащим. Глаголы, спрягающиеся с *avoir* в качестве вспомогательного не согласуются в роде и числе с подлежащим, потому что они меньше затрагивают его «субъектное» начало и подразумевают употребление прямого дополнения. Если же прямое дополнение ставится перед глаголом, то «*participle passé*» согласуется с ним, а не с подлежащим в роде и числе, потому что акцент ставится на прямом дополнении. Сравним:

Французский язык	Английский язык	Русский язык
Je suis tombé	I have fallen down	Я упал
Elle est restéé	She has stayed	Она осталась
Vous êtes parties	You have left	Вы уехали
Elle était venue	She has come	Она давно пришла
J'ai bu une tasse de café	I have had a cup of coffee	Я выпил чашку кофе
La fille qu' il a vue	The girl he has seen	Девушка, которую он увидел

Если проанализировать приведенные конструкции с точки зрения когнитивного и гендерного подходов, то мы видим, что в русском языке «субъектность» подчеркивается согласованием в роде и числе во всех случаях с подлежащим, а во французском языке ощущается особенное «уважение» к пространству другого субъекта, что выражено в конструкции: «*La fille qu'il a vue* / Девушка, которую он увидел(а)» – в русском предложении род соотносится с подлежащим, а во французском – с прямым дополнением «*La fille*» (девушка), потому что акцент стоит на прямом дополнении. Что касается сопоставления французского и английского языков, то здесь разница видна в употреблении глаголов «*avoir* / *to have*» и «*être* / *to be*» в качестве вспомогательных. «*J'ai bu une tasse de café*» Во французском глагол «*boire* / *пить*» спрягается с «*avoir*» потому, что это действие касается как «меня», так и «чашки кофе». Причем, если «чашка кофе» стоит впереди, то согласование причастия значимого глагола будет происходить с «ней», а не со «мною»: «*La tasse de café que j'ai bue*». «*Je suis tombé*». Во французском глагол «быть» в качестве вспомогательного «Я есть упавший» подчеркивает, что действие касается только меня, таким образом, только «я – концепт» и только личностное пространство моего «бытия» страдает. Мы четко видим, что в плане дихотомии «обладание – бытие» французский язык, будучи, действительно, «образцовым иметь – языком» [10, с. 206], сосредотачивает свое внимание именно на пространстве бытия субъекта, экзистенции. Обладание существует ради бытия. Особенно ярко это прослеживается на анализе употребления притяжательных местоимений (языкового средства выражения possessивности, т.е. концепта обладания). Сравним:

Французский язык	Английский язык	Русский язык
Je bois mon café (Я пью мой кофе)	I drink (have) coffee	Я пью кофе
Je prends ma douche	I have a shower	Я принимаю душ
Je veux me faire couper mes cheveux (Я хочу мне постричь мои волосы)	I want to have my hair cut	Я хочу постричь волосы

Окончание табл.

Ma parole (Мое слово)	My word	Честное слово
Il va garder ses dindons (Он едет пасти своих индюков)	–	Он едет жить в деревню
Tu n'a pas ta langue dans ta poche (У тебя нет твоего языка в твоём кармане)	You are never lost for words	Ты за словом в карман не полезешь
Il parle dans sa barbe (Он говорит со своей бородой)	He talks through his hat	Он говорит невнятно
Ne mets pas ton doigt dans ton nez	Don't pick your nose	Не ковыряй в носу

Мы видим, что в русском языке категория «притяжательности» выражается только тогда, когда речь идет о принадлежности предмета какому-то определенному лицу, в английском языке «*possessive pronouns*» употребляются чаще, но это подчинено строгой логике, во французском же языке существует четкое разделение категорий «*adjectifs possessifs / притяжательные прилагательные*» и «*pronoms possessifs / притяжательные местоимения*». Притяжательные прилагательные употребляются очень часто и, порой, отходят от обозначения «принадлежности», переходя из концепта «*обладание*» в концепт «*бытие*», появляется оттенок «наслаждения» своим жизненным пространством, откуда у французов знаменитое «*savoir vivre / умение жить*» или «*savourer la vie / смаковать жизнь*». Например, в таких предложениях, как «*Je bois mon café / Я пью мой кофе*» или «*Je prends ma douche / Я принимаю мой душ*», акцент ставится не на категории принадлежности, т.е. на *обладании*, а на процессе, на собственных ощущениях, т.е. на концепте *бытия*.

Итак, очевидно, что для французского языкового сознания основополагающим является именно «Я-концепт», что находит свое отражение во всей французской литературе, особенно наиболее «французских» течениях символизма, экзистенциализма и т.д. Это связано, безусловно, с тем, что «избыток» субъектного, личностного начала в человеке, с одной стороны, приводит к некоторому самолюбованию и чрезмерному восхищению другим субъектом, с другой стороны – к идее одиночества, эгоцентризма, отчужденности, так ярко выраженных французскими писателями XX в., начиная от Пруста «Эпос субъективного», через А. Камю (особенно в хрестоматийном романе «Посторонний») и до наших дней. Скажем, в творчестве еще очень молодой, но чрезвычайно популярной в последнее время французской писательницы Анн Гавальда, один из сборников новелл которой называется «*Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part*» («Я хотела бы, чтобы кто-нибудь меня где-нибудь ждал»).

Рассмотрим несколько характерных примеров из французской литературы:

Je t'aime, o **ma** tres belle, o **ma** charmante
 Que de fois...
Tes debauches sans soif et **tes** amours sans ame,
Ton gout de l'infini,
 Qui partout, dans le mal, se proclame...
Tes bombes, **tes** poignards, **tes** victories, **tes** fetes,
Tes faubourgs melanciliques
Tes hotels garnis,
Tes jardins pleins de soupirs et d'intrigues,
Tes temples vomissant la priere et musique,

Tes desespoirs d'enfant, tes jeux de vieille folle...

Charles Baudelaire, Gallimard,

J'ai trop de **moi** (слишком много «я»)

Le MOI est haïssable (Я – ненавистно)

Pascal

Наиболее объективное представление о культуре и языке той или иной нации можно получить лишь путем объединения «взгляда со стороны», поскольку невозможно бывает «расшифровать» семантику грамматики собственного языка и внутреннего анализа, проводимого носителями языка.

Хотелось бы привести пример, интересный с этой точки зрения, как самими французами ощущается смысл «Я-концепта», его значимость для французского языкового сознания:

Lui – Je peux faire une remarque?

Elle – Mais, bien sur, mon cheri.

Lui – Cette theiere n'a pas etre la

Elle – C'est «ma» theiere et c'est «sa» place

Lui – C'est «ta» theiere et je suis a «ma» place!

Elle – Tu es a «ta» place «chez moi»!

Lui – Je suis «chez moi» a «ma» place «chez toi» (Я «у меня», на «моем» месте «у тебя» дома!)

*«Chers amies, vieux camarades»,
Avant-scene theatre, 1995*

«Я-концепт» во французском языковом сознании неразрывно связан с концептом «**identite natinale / national identity**».

Приведем пример юмористической фразы, возможной для понимания, на мой взгляд, только для французского языкового сознания из новеллы Анн Гавальда «Permission». Молодая девушка объясняется с полицейским, пожурившим ее за неаккуратно выброшенную обертку на улице, и мысленно представляет себе, что она хочет ему сказать:

– Je travaille pour la PAIX-MOI, Monsieur!

(Я работаю ради «мира-Я», Месье!)

– Je me suis leve a quatre heure pour la FRANCE-MOI.

(Я встал в четыре утра ради «Франции-Я», Мадам!)

В заключении хотелось бы отметить, что «Я-концепт», ощущение себя в языковом пространстве и в восприятии картины мира является основополагающим при рассмотрении основ природы культуры того или иного народа. Завершая некоторый сопоставительный анализ «Я-концепта» во французском и русском языковом сознании, мы видим, что во французском он несколько гипертрофирован, а в русском – нивелирован на уровне грамматического строя. Нельзя не согласиться с А. Вежбицкой (1996), полагающей, что такие доминанты поведения в русской культуре, как неконтролируемость чувств, неконтролируемость судьбы, заложены в русской грамматике и определяют мировоззрение. А. Вежбицкая видит отражение этого в «запутанной» системе русских падежей, и это, безусловно, правильно. Однако можно предположить, что объяснение богатства лексики и фразеологии в русском языке, как и истоки загадочности русской души, бесконечного глубинного поиска себя, своего места в пространстве и смысла жизни, что так ярко отражено в великой русской литературе, с точки зрения семантики грамматики, лежат, в том числе, и в плоскости соотношения категорий «бытия» и «обладания» и подавления субъектно-

го, личностного начала в виду пациентивного принципа построения грамматических конструкций.

Список литературы

1. **Снитко, Т. Н.** Предельные понятия в западной и восточной лингвокультурах : монография / Т. Н. Снитко. – Пятигорск, 1999. – 156 с.
2. **Кузнецов, А. М.** Когнитология , антропоцентризм, языковая картина мира и проблемы исследования лексической семантики / А. М. Кузнецов // Этнокультурная специфика речевой деятельности. – М. : РАН ИННОН, 2000. – С. 8–22.
3. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. – М., 1991. – 560 с.
4. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1938. – 1951 с.
5. **Арутюнова Н. Д.** Национальное сознание, язык, стиль / Н. Д. Арутюнова // Тезисы международных конференций. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 40 с.
6. **Попова, З. Д.** Очерки по когнитивной лингвистике / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2001. – 191 с.
7. **Вежбицкая, А.** Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 777 с.
8. **Кашкина, О. В.** Я-концепт сквозь призму самооценочных высказываний / О. В. Кашкина // Вестник Воронежского государственного у-та. – 2004. – № 1. – С. 47–54. – (Лингвистика и международная коммуникация).
9. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1938. – 1951 с.
10. **Друзева, Н. В.** Фундаментальные глаголы бытия и обладания, функциональный и когнитивный аспекты : дис. ... д-ра филол. наук / Н. В. Друзева. – Саратов, 2006. – 289 с.
11. **Правосуд, О. А.** Бытийные предложения с глаголом «быть» и «иметь» в лингвофилософском аспекте / О. А. Правосуд // Тезисы докладов II Междунар. научно-практ. конф. – Бийск, 2004. – 15 с.
12. **Рылов, Ю. А.** Аспекты языковой картины мира: итальянский и русский языки / Ю. А. Рылов. – М. : Гнозис, 2006. – С. 50–51.

Ф. ШИЛЛЕР И А. А. ДЕЛЬВИГ¹

В статье впервые выявлены и проанализированы традиции Ф. Шиллера в идиллиях, антологических эпиграммах, анакреонтических одах, а также литературно-критических статьях А. А. Дельвига. Особую ценность для русского поэта имело привнесение Шиллером в литературное творчество сугубо национальных начал, обусловленных характерными романтическими приоритетами. Показана преемственность творчества русского поэта по отношению к наследию немецкого предшественника на уровне мотивов, образов, символики, художественных деталей и др.

В процессе изучения творчества А. А. Дельвига в контексте русско-немецких историко-культурных и литературных связей XIX в. особое внимание привлекают обстоятельства влияния на русского поэта выдающегося немецкого писателя Ф. Шиллера. Уже в ранних анакреонтических одах Дельвига можно видеть традиционный мотив воспевания радостей жизни, пришедший в русскую литературу под влиянием немецкого рококо, прежде всего творчества Хр. М. Виланда (см. главу 32 «Диогена Синопского») [1, с. 124], гимнов «К радости» Ф. Хагедорна и И. П. Уца, оды Ф. Шиллера «К радости» [3, с. 41; 4, с. 18].

Традиция изображения современности средствами античной поэзии (с учетом характерной образности, ритмико-композиционной схемы стиха) была воспринята русскими романтиками, в том числе Дельвигом, из творчества А. Шенье, а также из немецкой литературы (сочинения И. В. Гете, Ф. Шиллера, И. Г. Гердера, И. Х. Ф. Гельдерлина). Дельвиг, в соответствии с традицией, не стремился в антологических эпиграммах, равно как и в произведениях некоторых других жанров, даже к условному воссозданию картины античной жизни, ее внешних примет, а представлял далекое прошлое как светлое, возвышенное время, выгодно отличающееся от современности. Противопоставление прошлого и настоящего во многих его произведениях только намечается, подразумевается, тогда как в некоторых текстах, таких как эпиграмма «Переменчивость», оно проступает вполне выпукло и определено. На материале «антологических эпиграмм» Пушкина, совершенно отображавших как формы древнегреческой поэзии, так и метод мифологизации, раскрывавших сущность художественного по преимуществу мышления древней Эллады, Д. Д. Благой пришел к выводу, что по содержанию своему такие произведения, реально не имеющие никакого отношения к Греции, написаны поэтом «на важные для него и волнующие его темы, подсказывавшиеся и его собственным духовным развитием, и русской жизнью «железного XIX века» [5, с. 517], т.е. содержат взгляд на реальность через призму духовного комплекса античности. Вместе с тем античное начало как идеал и норма не могло раствориться в эмпирической действительности, поскольку противостояло ей «как эталон и корректив, как ее возвышенно героизированный и требовательный лик» [6, с. 120].

¹ Исследование осуществлено при поддержке гранта Президента Российской Федерации МД-1752.2007.6.

Дельвиг предпочитает начинать свои антологические эпиграммы, неизменно сохраняющие дидактическое начало, с обращения не к конкретному лицу, а к предмету размышлений или неопределенному адресату («Мы», «Грусть», «Слезы любви», «Удел поэта» и др.). Подобный прием использовался и другими поэтами пушкинского круга (в частности, В. К. Кюхельбекером, Е. А. Баратынским), однако только Дельвиг применял его в своих антологических сочинениях систематически. В этом, на наш взгляд, следует видеть существенное влияние, испытанное поэтом в результате прочтения на языке оригинала некоторых, в ту пору еще практически не переведенных на русский язык, произведений Ф. Шиллера («Эпиграммы», «Заметки», «Мелочи»).

Среди антологических эпиграмм известны произведения, содержащие обращение к личности Гомера и его творчеству. В античности гомеровская тема затрагивалась в эпиграммах Леонида Таренского, Антипатра Сидокского, Алфея, а также неизвестных поэтов [7, с. 126, 149]. Первая антологическая эпиграмма Дельвига, затронувшая гомеровскую тему, была написана под впечатлением от отрывка из осуществленного Н. И. Гнедичем перевода «Илиады», достойного, по мнению Дельвига, благожелательного внимания самого Гомера («Н. И. Гнедичу», 1821 или 1822). Завершение многолетнего труда Гнедича обусловило появление антологических эпиграмм А. С. Пушкина «На перевод «Илиады» (1829) и «К переводу «Илиады» (1829). Гомеровская тема была развита в эпиграмме Ф. Шиллера «Илиада»: «Рвите Гомеров венок и считайте отцов совершенной, // Вечной поэмы его...» [8, с. 119]. Эпиграмма Шиллера представляла собой гневную отповедь сторонникам теории Вольфа (так называемой теории «малых песен»). Негодование по поводу данной теории также выражал в поэме «Рождение Гомера» Н. И. Гнедич [9, с. 11].

Реминисценция из «Илиады» Ф. Шиллера содержится в стихах антологической эпиграммы Дельвига, посвященной Ф. Н. Глинке: «Рви их, любимец богов, и сплетай из них русским каменам // Неувядаемые, в Хроновом царстве, венки» [10, с. 137]. Впоследствии эту мысль повторил в антологической эпиграмме «Гомер» (1829) В. А. Жуковский: «...вечен Гомеров венец» [11, с. 179]¹. Дельвиговская эпиграмма «Ф. Н. Глинке» (1820), сопровождавшая пересылку греческой антологии (вероятно, популярной в те годы книги И. Г. Гердера «Цветы из греческой антологии»), создавала впечатление программы определенных действий по современному переосмыслению античной лирики. Дельвиговское сопоставление антологии с пленительным цветочным убранством «легких харит» было обусловлено буквальным пониманием слова «антология», обозначающего в переводе с греческого «цветник», «букет цветов», и полностью соответствовало литературной традиции. Очевидно, под влиянием присланной

¹ Следует признать, что лексемы «венки» и «венец» употреблялись поэтами в разных значениях. На данное обстоятельство первым обратил внимание Ю. В. Манн: «Венец – атрибут славы, чаще всего военной; венки – знак отказа от громкой славы ради жизни неприметной, но исполненной естественных чувств, искренней приязни и любви. И вместе с противопоставлением «венки» «венцу» второй ряд значений ставится выше первого» [12, с. 21]. В «Стихах, сочиненных в день моего рождения» (1803) В. А. Жуковский подчеркнул противопоставил венки и венец: «Не нужны мне венцы вселенной, // Мне дорог ваш, друзья, венок» [11, с. 35]. О символике венки в поэзии Дельвига – в одной из наших статей [13, с. 78–80].

антологии в 1820 г. Ф. Н. Глинка написал вольный перевод из Агафия «Греческие девицы к юношам (из Антологии)» и расширенный вариант дистиха Лукиана «К недостойному бессмертия (из Антологии)».

Обращение к жанру идиллии стало для Дельвига одним из путей к осознанию и принятию культурно-эстетических достижений и этических норм античности. Представление о далекой исторической эпохе, о мире души и особенностях отношений идиллических героев Дельвиг сформировал на раннем этапе творчества в результате знакомства с переводами идиллий, а также оригинальными произведениями и общественными взглядами немецких поэтов эпохи раннего романтизма, в частности Л. Г. К. Гельти, Ф. Г. Клопштока, Ф. Шиллера. В изучении немецкой литературы Дельвигу помогал В. К. Кюхельбекер, на что, в частности, указывал А. С. Пушкин: «Клопштока, Шиллера и Гельти прочел он с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием» [14, с. 293]. Поэты, творчество которых привлекало Дельвига и Кюхельбекера, критикуя классические нормы, прокладывали дорогу новому романтическому движению, в котором особое значение приобретало национальное своеобразие искусства. По наблюдению В. Э. Вацуро, «Шиллер, как и Гете, воплотил в своем творчестве дух этой переходной эпохи» [15, с. 6]. Обращение к античности позволяло поэтам отчасти нивелировать влияние французской традиции, ставшей своего рода символом всего внационального, классического в литературе и искусстве. Возвышенное романтическое восприятие названных немецких авторов, отразившееся на содержании их произведений, в том числе и идиллий, гармонично сочеталось с идеализацией далекого прошлого самим Дельвигом, который «безошибочно угадывал <...> дух и способ мышления, порядок мыслей и систему мироощущения человека, выходца из «золотого века», открывая в том времени недоступные для современного мира мудрость и великие простоты» [16, с. 2].

Раскрывая мифологическую перспективу, к которой должны стремиться в своих помыслах человек и общество, Дельвиг показывал, что основу идеального мира традиционно составляла гармония, всесторонне развивавшая человека, формировавшая полнокровное, дружелюбное, лишенное зла и насилия окружение. В дельвиговском творчестве отразились взгляды Ф. Шиллера, утверждавшего, что цель идиллии «всегда и везде одна – изобразить человека в состоянии невинности, то есть состоянии гармонии и мира с самим собой и с внешней средой» [17, с. 440]. Ф. Шиллер называл идиллию «прекрасной возвышающей фикцией» и при этом подчеркивал ее значимость, состоявшую в предоставлении отклонившемуся от естественных, природных норм человеку возможности «вновь созерцать законы природы в чистом образце и, глядя в это зеркало, вновь очиститься от пороков искусственности» [17, с. 441]. Несколько иной была изначальная посылка античных идиллий, авторы которых искали в гармонии природы и близких ей наивных, нравственно чистых людей спасение от жестокости окружающего мира. В отличие от античных поэтов, Дельвиг не верил в реальность такого спасения, показывая, как гармония постепенно уходила из мира, оставляя людей наедине с многочисленными пороками. «Прошли, пролетели те времена!» [10, с. 192], – восклицал поэт в идиллии «Друзья», ненавязчиво напоминая о былом, уже несбыточном человеческом радушии. К утрате гармонии как главной конструктивной составляющей жизни вело трагическое миро-

ощущение, с особой силой выраженное Дельвигом в идиллии «Конец золотого века», испытавшей несомненное влияние зарубежных барочных и романтических идиллий, в частности творчества В. Вордсворта, Ф. Гельдерлина [18, с. 70], а также «Аркадского памятника» Н. М. Карамзина («Мороз может в одну ночь побить самые прекраснейшие цветы, а заразительный порок может в малое время переменить народные нравы» [19, с. 323]).

В те годы, когда Дельвигом создавал свои идиллии, популярностью среди просвещенных кругов России пользовались сочинения С. Геснера. Последователем Геснера, идиллии которого, впервые показавшие пастухов, подверженных всем человеческим заботам и нуждам, «органически входили в литературу» [20, с. 227], стал в России В. И. Панаев, который в рассуждении «О пастушеской или сельской поэзии» призывал описывать идеальную древность, поскольку быт современных крестьян чужд идиллической гармонии¹. Обратной точки зрения придерживался Ф. Шиллер, призывавший к созданию новой современной идиллии, которая сохранит «пастушескую невинность также в носителях культуры, в условиях самой воинственной и пламенной жизни, самого развитого мышления, самого рафинированного искусства, высшей светской утонченности». Это была бы «идиллия, ведущая в Элизиум человека, для которого нет уже возврата в Аркадию» [17, с. 441].

В «Дамоне» Дельвигом точно отобразил представления древних греков, согласно которым солнце поднимается из окружающего землю океана, а при заходе вновь погружается в него, причем за далекими водными краями живут бессмертные боги: «Вечернее солнце катилось по жаркому небу, // И запад, слившийся с краями далекого моря, // Готовый блестящего бога принять, загорался // <...> // В прохладе и блеске катилися волны Алфея» [10, с. 152]. Мифологическая картина солнечного заката, согласно которой «морская богиня Фетида встречает спускающегося на колеснице к морю бога Солнца» [23, с. 694]², получила художественное воплощение не только в «Дамоне» Дельвига, но и в произведениях других писателей, в частности в стихотворении С. П. Шевырева «Вечер (Из Шиллера)» (1826): «Зри, кто из моря в волны кристальны // С милой улыбкой друга манит! // Быстро помчались грозные кони // В царство богини морей!» [26, с. 150]³. Данное произведение является переводом стихотворения Ф. Шиллера «Der Abend». В этой связи нельзя исключить возможного влияния Шиллера на появление указанного мотива в дельвиговской идиллии.

Финал идиллии «Конец золотого века» создавался под впечатлением от четвертого акта трагедии Шекспира «Гамлет», на что указывал сам Дельвигом:

¹ В. И. Панаев также отмечал необходимость показывать исконную доброту человеческой природы, художественно воплощать идеал «естественного человека», избежавшего тлетворного влияния города [21, с. 519]. О позиции С. Геснера – в книге М. Л. Тронской [22, с. 80].

² Согласно античной мифологии, солнце отождествлялось с конем, мчащим по небу колесницу. «Солнце боролось с мраком и побеждало его в беге, – указывает О. М. Фрейденберг. – Ареной, то есть беговой дорожкой, служило небо, а местом поединка – горизонт» [24, с. 408]. Греческий миф о солнце-Гелиосе, двигавшемся с востока на запад, ночью переплывавшем через реку Океан и снова всходявшем на востоке, рассмотрен А. А. Тахо-Годи [25, с. 85].

³ О том же писал в 1838 г. П. А. Катенин: «Лучом последних стрел сверкая пред закатом, // Гиперион коней спускает в лоно вод» («Сафо (Кантата)» [27, с. 238]).

«Читатели заметят в конце сей идиллии близкое подражание Шекспирову описанию смерти Офелии. Сочинитель, благоговей к поэтическому дару великого британского трагика, радуется, что мог повторить одно из прелестнейших его созданий» [10, с. 204]. Известную аналогию сюжету дельвиговской идиллии представляет создававшаяся позднее «Русалка» (1829–1832) А. С. Пушкина. О «гамлетизме» русской литературы писали М. П. Алексеев, Ю. Д. Левин [28, с. 196; 29, с. 176]¹, однако нас в контексте заявленной темы прежде всего интересует внимание Дельвига к творчеству Шекспира и его переводчика Шиллера, нашедшее отражение в статье в «Литературной газете», содержащей оценку переводческой деятельности А. Г. Ротчева.

В «Литературной газете» от 17 ноября 1830 г., вышедшей из-за цензурного конфликта только 9 декабря [30, с. 265–271], увидела свет рецензия на книгу известного переводчика, постоянного автора «Московского телеграфа» А. Г. Ротчева, включавшего «трагедию Шакспира «Макбет», из сочинений Шиллера». Почему Дельвига привлек именно перевод «Макбета»? Ответ на этот вопрос можно найти в обстоятельствах биографического характера. Находясь в тюремном заключении, В. К. Кюхельбекер сделал перевод «Макбета» и переслал его родным, о чем сообщил Дельвигу в письме от 18 ноября 1829 г., переданном с оказией. В «Литературной газете» от 31 января 1830 г. Дельвиг анонимно поместил статью В. К. Кюхельбекера «Мысли о Макбете» и начал предпринимать попытки по подготовке перевода к изданию [31, с. 191–192; 32, с. 30–58]. В письме Н. М. Коншину в декабре 1829 г. Дельвиг сетовал на медлительность в переписке трагедии; 18 июня 1830 г. Дельвиг сообщал А. П. Елагиной-Киреевской, что так и не удалось напечатать добротного труда Кюхельбекера [33, с. 340, 343]. Принципы перевода великого произведения Шекспира, изложенные в статье Кюхельбекера «Мысли о Макбете», оказались очень близки Дельвигу, по сути повторившему их в критическом отзыве о новой работе А. Г. Ротчева.

В указании «трагедия Шакспира из сочинений Шиллера», свидетельствовавшем о том, что переводчик работал не с английским оригиналом, а с переводом на немецкий язык, осуществленным с некоторыми текстовыми изменениями, Дельвиг видел внушенное «Московским телеграфом» «неуважение к творениям великих писателей и пренебрежение к своим читателям»: «Как Шиллер сочинил трагедию Шекспира? – Шиллер перевел «Макбета» с некоторыми изменениями; он мог и сочинить трагедию «Макбет», взяв для своей драмы один предмет с Шекспиром; но как мог написать написанное другим – не понимаем» [33, с. 264, 265]. Дельвиг сетовал, что похвалы критики, высказанные осуществленным Ротчевым переводам «Мессинской невесты» и «Вильгельма Теля» Шиллера, не пошли на пользу молодому дарованию, и призывал сравнить перевод если не с английским оригиналом, то хотя бы с немецким текстом: «Вы увидите, что ни один даже удачный стих Шиллера не остановил переводчика и не заставил его постараться верно передать себя. Одна безотчетная поспешность добраться поскорее до конца вы-

¹ Можно привести еще один яркий пример шекспировского влияния на Дельвига: взяв эпиграфом к прозаическому отрывку «Ночь на 24 июня» (конец 1820-х гг.) слова Шекспира «Есть многое в природе, друг Горацио, // Что и не снилось нашим мудрецам», Дельвиг как бы predetermined балладный характер своего произведения, преобладание взволнованной, эмоциональной лирической интонации, таинственность описываемых событий.

глядывает из каждой сцены, из каждого стиха, даже из корректуры типографской!» [33, с. 266]. Дельвиг делает во многом символический вывод – «Макбет» еще не переведен в России – и тем самым подсознательно оставляет надежду на публикацию перевода В. К. Кюхельбекера.

Привлекают внимание оссианические мотивы в раннем стихотворении Дельвига «Настанет час ужасной брани...» (1812 или 1813), отражавшем характерные для периода наполеоновских войн эсхатологические фантазии. Дельвигом создавалась мрачная картина невиданного разгула утопических сил и вселенского краха – «типично «оссианический» пейзаж в том виде, как он воспринимался русскими подражателями» [34, с. 101] шотландского барда: «Чудовища с цепей сорвутся // И полетят на мир толпой. // Моря драконом потрясутся, // Земля покроется водой. // Дуб твердый и ветвисты ивы // Со треском на луга падут. // Утесы мшисты, горделивы // Друг друга в океан сотрут» [10, с. 64]. Появление оссианических мотивов в русской поэзии [35] свидетельствовало о завершении столь характерной для эпохи классицизма «монополии» античной литературы, выступавшей в качестве единственного образца для подражания [36, с. 86]. Открытие древней поэзии и культ Оссиана становились теми явлениями, которые сопутствовали в поэзии пушкинского времени «коренному преобразению эстетической мысли», являясь «отчасти и одной из его причин» [37, с. 63]. В этой связи влияние на русских романтиков оказало высказывание Ф. Шиллера об Оссиане, у которого «переживания определенных утрат расширились до идеи всеобщей бренности» [17, с. 423]. К примеру, под влиянием новой традиции в думе К. Ф. Рыльева «Петр Великий в Острогожске» (1823) был создан романтический пейзаж «оссианического» типа; Д. В. Веневитинов написал на оссиановскую тему стихотворения «Освобождение скальда», «Песнь Кольмы».

В письме А. С. Пушкину из Харькова, написанном около 18 февраля 1828 г., Дельвиг отмечал большое влияние на харьковских профессоров со стороны Ф. В. Булгарина, выразившееся, в частности, в превознесении пушкинских «Цыган» «выше всех произведений европейских муз» [33, с. 328]. Видимо, харьковские профессора находились под впечатлением только что опубликованной в «Северной пчеле» статьи Ф. В. Булгарина «Обозрение русских альманахов на 1828 год», где «Цыганы» были названы одним из «лучших созданий поэзии в Европе, а не в одной России», а в связи с «Борисом Годуновым» была брошена крайне популярная в те годы фраза: «Тени Шекспира, Шиллера, возрадуйтесь» [38].

Упоминания имени Шиллера встречаются в литературно-критических статьях Дельвига. Так, при критическом анализе поэмы А. И. Подолинского «Нищий», рассуждая о «благозвучных стихах без мыслей», обнаруживающих «не талант поэтический, а хорошо устроенный орган слуха», Дельвиг противопоставлял им гармонию стихов Шиллера, которая «есть, так сказать, тело, в котором рождаются поэтические чувства и мысли», и делал вывод, что «у истинных поэтов каждая мысль и каждое чувство облекаются в единый, им свойственный гармонический образ» [33, с. 226]. Перепечатывая в № 54 «Литературной газеты» от 23 сентября 1830 г. заметку Ф. В. Булгарина в «Северной пчеле», настоятельно рекомендовавшую читателям познакомиться с «Историей русского народа» Н. А. Полевого, Дельвиг сопровождал ее редакционными примечаниями, в одном из которых приводил анекдот о Ф. Ф. Кокошкине, драматурге, переводчике, противни-

ке романтического направления, также содержащий упоминание о Шиллере: «Некто, почитающий себя классиком, браня романтизм, важно говорил однажды знакомому молодому поэту: «Ну, послушай, любезный, ведь ты меня знаешь, не правда ли? Ведь я честный человек? Ведь мне никакой пользы нет тебя обманывать? Поверь же, милый, старику: и Шиллер твой, и Гете – не писатели, а дураки» [33, с. 256]. Анекдот о Ф. Ф. Кокошкине, отразивший литературные споры своего времени, сохранился также в «Старой записной книжке» П. А. Вяземского [39, с. 81].

Цитату из «Орлеанской девы» Ф. Шиллера в переводе В. А. Жуковского Дельвиг использовал в рецензии на «Теоретико-практическое наставление о виноделии» А. И. Стойковича, помещенной в «Литературной газете» 13 октября 1830 г. Характеризуя бездарное управление многими помещиками своими имениями на Юге России, Дельвиг вместе с тем выражал уверенность в скором исправлении положения под влиянием экономических условий: «...сколько земель, способных производить самая нежные растения юга, оставлены на произвол природы невнимательностью помещиков,

Безмятежных, не желающих,
Не скорбящих, не теряющих,

но зато ничего и не выигрывающих! Однако число этих неприступных духов Шиллеровых приметно уменьшается. Нужда пробуждает деятельность общую, и богатая земля наша скоро будет приневолена платить нам все, что может» [33, с. 262].

Как видим, традиции Ф. Шиллера получили отражение в идиллиях, анакреонтических одах, антологических эпиграммах, а также литературно-критических статьях Дельвига. Русский поэт был знаком не только с лирикой и драматургией Шиллера, но и с его трактатом «О наивной и сентиментальной поэзии», причем многие теоретические послы немецкого предшественника были ему предельно близки. Шиллер воспринимался Дельвигом в широком контексте мирового литературного процесса и потому его имя нередко оказывалось рядом с именами Шекспира, Расина, Гете и др. Основной заслугой Шиллера было, в восприятии Дельвига, привнесение в литературное творчество сугубо национальных начал, обусловленных характерными романтическими приоритетами.

Список литературы

1. **Wielands, C. M.** Samtliche Werke / C. M. Wielands. – Carlsruhe, 1815. – Bd. 13. – 436 s.
2. **Данилевский, Р. Ю.** Виланд в русской литературе / Р. Ю. Данилевский // От классицизма к романтизму. – Л. : Наука, 1970. – С. 79–106.
3. **Ausfeld, Fr.** Die deutsche anakreontische Dichtung des 18. Jh's. / Fr. Ausfeld. – Straßburg : MVG, 1907. – 132 s.
4. **Данилевский, Р. Ю.** Шиллер и становление русского романтизма / Р. Ю. Данилевский // Ранние романтические веяния. – Л. : Наука, 1972. – С. 5–32.
5. **Благой, Д. Д.** Творческий путь Пушкина (1826–1830) / Д. Д. Благой. – М. : Сов. писатель, 1967. – 580 с.
6. **Кнабе, Г. С.** Русская античность. Содержание роль и судьба античного наследия в культуре России / Г. С. Кнабе. – М. : Слово, 2000. – 242 с.
7. Греческая эпиграмма. – М. : Худ. литература, 1960. – 428 с.
8. **Кибальник, С. А.** Русская антологическая поэзия первой трети XIX века / С. А. Кибальник. – Л. : Наука, 1990. – 222 с.

9. **Савельева, Л. И.** Античность в поэзии Н. И. Гнедича / Л. И. Савельева // Проблемы романтизма в художественной литературе и критике. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1976. – С. 3–18.
10. **Дельвиг, А. А.** Полное собрание стихотворений / А. А. Дельвиг. – Л. : Сов. писатель, 1957. – 288 с.
11. **Жуковский, В. А.** Избранное / В. А. Жуковский. – Л. : Сов. писатель, 1973. – 478 с.
12. **Манн, Ю. В.** Поэтика русского романтизма / Ю. В. Манн. – М. : Наука, 1976. – 326 с.
13. **Жаткин, Д. Н.** Символика венка в языке поэтических произведений А. А. Дельвига / Д. Н. Жаткин // Русистика и белорусистика на рубеже веков : тезисы докладов Международных научных чтений. – Могилев : Изд-во Могилевского ун-та им. А. А. Кулешова, 2001. – С. 78–80.
14. **Пушкин, А. С.** О Дельвиге / А. С. Пушкин // Пушкин А. С. Собрание сочинений : в 10 т. – М. : ГИХЛ, 1962. – Т. 7. – С. 292–295.
15. **Вацуро, В. Э.** Антон Дельвиг – литератор / В. Э. Вацуро // Дельвиг А. А. Сочинения. – Л. : Худ. литература, 1986. – С. 3–20.
16. **Рудакова, С. В.** «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы...» / С. В. Рудакова // Литература (Приложение к газете «Первое сентября»). – 1996. – № 31. – С. 2–3.
17. **Шиллер, Ф.** О наивной и сентиментальной поэзии / Ф. Шиллер // Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. – М. : ГИХЛ, 1957. – Т. 6. – С. 421–447.
18. **Тураев, С. В.** От Просвещения к романтизму: Трансформация героя и изменения жанровых структур в западноевропейской литературе конца XVIII – начала XIX в. / С. В. Тураев. – М. : Наука, 1983. – 256 с.
19. **Карамзин, Н. М.** Полное собрание стихотворений / Н. М. Карамзин. – М. ; Л. : Сов. писатель, 1966. – С. 323.
20. **Тураев, С. В.** Патриархальные иллюзии швейцарских романтиков / С. В. Тураев // Незученные страницы европейского романтизма. – М. : Наука, 1975. – С. 219–236.
21. **Вацуро, В. Э.** Русская идиллия в эпоху романтизма / В. Э. Вацуро // Вацуро В. Э. Пушкинская пора : сборник статей. – СПб. : Нестор, 2000. – С. 503–539.
22. **Тронская, М. Л.** Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения / М. Л. Тронская. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1965. – 192 с.
23. **Киселев-Сергенин, В. С.** Примечания / В. С. Киселев-Сергенин // Поэты 1820–1830-х годов : в 2 т. – Л. : Сов. писатель, 1972. – Т. 2. – С. 619–754.
24. **Фрейденберг, О. М.** Миф и литература древности / О. М. Фрейденберг. – М. : Мир, 1978. – 536 с.
25. **Тахо-Годи, А. А.** Греческая мифология / А. А. Тахо-Годи. – М. : Искусство, 1989. – 176 с.
26. Поэты 1820–1830-х годов : в 2 т. – Л. : Сов. писатель, 1972. – Т. 2. – 768 с.
27. **Катенин, П. А.** Избранные произведения / П. А. Катенин. – М. ; Л. : Сов. писатель, 1965. – 476 с.
28. **Левин, Ю. Д.** Русский гамлетизм / Ю. Д. Левин // От романтизма к реализму. – Л. : Наука, 1978. – С. 171–216.
29. **Алексеев, М. П.** Пушкин: Сравнительно-исторические исследования / М. П. Алексеев ; отв. ред. Г. В. Степанов, Н. В. Баскаков. – Л. : Наука, 1984. – 480 с.
30. **Замков, Н. К.** К истории «Литературной газеты» барона А. А. Дельвига / Н. К. Замков // Русская старина. – 1916. – Кн. 5. – С. 245–281.
31. **Левин, Ю. Д.** Кюхельбекер – автор «Мыслей о Макбете» / Ю. Д. Левин // Русская литература. – 1961. – № 4. – С. 191–192.
32. **Левин, Ю. Д.** «Макбет» Шекспира в переводе В. К. Кюхельбекера / Ю. Д. Левин // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1981. – Л. : Радуга, 1983. – С. 30–58.

33. **Дельвиг, А. А.** Сочинения / А. А. Дельвиг. – Л. : Худ. литература, 1986. – 472 с.
34. **Городецкий, Б. П.** Лирика Пушкина / Б. П. Городецкий. – М. ; Л. : ГИХЛ, 1962. – 596 с.
35. **Левин, Ю. Д.** Оссиан в русской литературе (конец XVIII – первая треть XIX века) / Ю. Д. Левин. – Л. : Наука, 1980. – 272 с.
36. **Федоров, В. И.** От сентиментализма к романтизму. Поиски нового поэтического содержания и форм его выражения / В. И. Федоров // История романтизма в русской литературе: Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790–1825). – М. : Наука, 1979. – С. 71–98.
37. **Шетер, И.** Романтизм. Предыстория и периодизация / И. Шетер // Европейский романтизм. – М. : Наука, 1973. – С. 59–76.
38. Северная пчела. – 1828. – 10 января. – № 4.
39. **Вяземский, П. А.** Старая записная книжка / П. А. Вяземский. – Л. : Academia, 1929. – 414 с.

ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА СРЕДНЕВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НЕМЕЦКОЙ РЫЦАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕСЕН МИННЕЗАНГА)

В данной статье произведения малых поэтических форм средневековой немецкой литературы (песни миннезанга) анализируются с точки зрения отражения в них картины мира средневекового человека. Выявляются основные черты, свойственные сознанию средневекового человека и находящие выражение в языке произведений.

Миннезанг (любовная лирика), по мнению Г. Эггера, является выраженным общественным искусством. Имеется в виду, что эта поэзия связана с определенным социальным слоем – рыцарством – и отражает его идеологию, культуру, систему ценностей [1, с. 18].

Правильное понимание и оценка куртуазной культуры возможны при ее включении в более широкий контекст – культуру средневекового человека. Необходимо попытаться воссоздать представления и ценности, присущие ему, выявить его «привычки сознания», то, как он оценивает действительность, его особенности видения мира. Одним словом, полагаться на ту модель мира, которая сложилась в конкретном историческом обществе. Понятие «средневековый человек» представляет собой некую абстракцию, «модель культуры», «скорее «идеальный тип», нежели по возможности точное воспроизведение действительности» [2, с. 25].

Отметим черты, свойственные сознанию средневекового человека и находящие отражение в литературе.

Средневековую чужд наивный реализм, реальностью для человека была объективная действительность, созданная Богом, независимая от субъекта [3, с. 82].

Существование Бога для средневекового человека – постулат, потребность всего его видения мира и нравственного сознания. Для человека средневековья – это высшая истина, вокруг которой группируются все его представления и идеи, с которой соотнесены его культурные и общественные ценности, регулятивный принцип всей картины мира эпохи [4, с. 19].

В куртуазной лирике развивается новая концепция любви: *hohe, rechte Minne*. По определению Деноми, это понятие объединяет в себе три компонента: эстетический (обожествление дамы, восхищение ею); аскетический (недосягаемость женщины); этический (совершенствование мужчины благодаря любви) [5, с. 37].

Новое восприятие любви теснейшим образом связано с христианскими идеями. Любовь – это одна из главных христианских добродетелей, а слово *minne* обозначало, в том числе, и любовь к Богу. Тематика миннезанга охватывает не только отношения между мужчиной и женщиной (рыцарем и дамой), речь идет также об этическом образе рыцаря и шире – о месте человека в мире. Любовь рассматривается в рамках оппозиции «желание – отказ от его исполнения» («*Begehren und Verzicht*»). В более общем виде она может быть определена как противопоставление «Бог – мир». Главная проблема – обращение к Богу как высшей ценности и в то же время привязанность к земному миру с его благами.

Содержание «высокой любви» отвечает христианской мысли о бескорыстном даре. Верность и любовь, смысл которой не в обладании, а в стремлении к идеалу, требуют нравственных сил, дать которые может только Бог [5, с. 232].

Вера в силу любви к женщине-идеалу, способность к отречению ведут к нравственному совершенствованию, так что в служении любви (Minnedienst) воплощается стремление души к соединению с Богом. Это иллюстрирует строчка из песни одного из миннезингеров:

Wîp, von dir müezen wir ze himelen komen (Frauenlob, DDM, S. 954).

Достичь особого состояния духа (hoher muot), счастья (saelde – понятие религиозное!) можно через верное служение даме (dienest). Рыцарь возвышает даму до положения госпожи и подчиняется ей:

Mîner frouwen was ich undertân,

dîu âne lôn mîn dienest nam (Hausen, цит. по [5, с. 231]).

Служить даме сердца и господину – дело чести для рыцаря. Но не следует забывать, что и отношение человека к Богу понималось в средние века как служение. Верная служба человека Богу, повиновение ему ведут к достижению свободы. Лишь верный слуга обладает истинной, высшей свободой. Таким образом, осуществляется сближение и взаимопереход понятий «свобода», «служение», «верность». Верность в средние века – важнейшая христианская доблесть. Главный герой рыцарской литературы – это верный, доблестный вассал, совершающий подвиги. Служба и верность являются центральными категориями в системе социально-политических и морально-религиозных ценностей средневекового христианства [4, с. 208–209].

В песнях миннезанга нередко непосредственные упоминания Бога. К нему обращаются за помощью:

So helfe got her iunger man... (Walther, LG, S. 580).

У него ищут утешения и спасения:

ni wil ich mich an got hebben:

der kan den liuten helfen uz der nôt (Hausen, цит. по [5, с. 199]).

Таким образом, миннезанг – это не только поэзия любви, в нем обнаруживаются и более сложные мотивы, связанные с коренной чертой средневекового мирозерцания – религиозностью.

Ею же определяется и особое видение мира средневековым человеком. Действительность для него представляет собой не особенное, единичное, а идеальное, типичное, общее [3, с. 82] и таким же образом изображается. Индивидуализации средневековые художники предпочитают типизацию.

На нашем материале специфику мышления средневекового человека можно проследить при описаниях пейзажа. Они лишены локальных особенностей, трафаретны и условны. Мы согласны с А. Я. Гуревичем, что своеобразие описания природы обусловлено представлениями той эпохи о Боге и человеческой душе как абсолютных ценностях, а о природе – как ценности относительной.

Кроме того, своеобразие изображения природы определяется особенностями отношения человека к ней. В работах медиевистов (Н. Brinkmann, А. Я. Гуревич) отмечается, что оно представляет собой не отношение субъекта к объекту, а нахождение самого себя во внешнем мире. Человек видит во вселенной те же качества, какими обладает он сам. В средневековой литературе нет индивидуального воспроизведения ландшафта, и картины природы

оставались стереотипными арабесками, сплетавшимися с лирическим ощущением автора.

Радостные чувства связаны с наступлением весны и лета и пробуждением природы:

Uf der linden obene dâ sanc ein kleines vogellîn.

vor dem walde wart ez lut: dô huop sich aber daz herze mîn (Eist, FdM, S. 26).

Зима же вызывает грусть и тоску:

dirre kalte winter truren unde senen gibt (Neidhart, DDM, S. 931).

Таковы преобладающие мотивы поэзии, сделавшиеся трафаретами.

Персоналии в рыцарской литературе воплощают определенные идеи и качества и также представляют собой отвлеченные типы, а не конкретных живых людей.

Стереотипен и образ возлюбленной. Героиня лирики воспринимается не как индивидуальность, а как обобщенный образ, олицетворяющий собой идеал красоты, добра, чистоты, лучших человеческих качеств. Ее красота и духовные добродетели воспевались в одних и тех же стандартных выражениях:

sô sach ich ir munt, ir wengel (=Wange) rosen var,

ir ougen klar

ir keln wîz,

ir wîblîch zucht, ir hende wîz als sne (Hadloup, DDM, S. 948).

Типично сравнение женской красоты с солнечным светом:

sist schoene alsam der sunnen schîn (Eist, MF, S. 40)

(оно встречается также в песнях Морунгена, Шперфогеля).

Рыцарь восхищается красотой и чистотой дамы:

si ist edel unde ist schoene (Sevelingen, FdM, S. 23).

В куртуазной культуре создается и некий идеальный тип рыцаря, отличающийся от своих предшественников. На смену *Kraftritter* и описанию его подвигов приходит *Tugendritter*. Он также силен и храбр (*stark, ellend*), но обладает и новыми достоинствами. Это – его духовные качества (*staete, diemuot, giûete*, являющиеся также христианскими добродетелями); общественно-ценные качества (*triuwe, milte, mâze, hoverscheit*); верность и служение церкви (*frum*) [1, с. 111; 6, с. 16].

Вот каким предстает идеал рыцаря у Вальтера:

Dri sachen boren an den rat

dabi alle tugend nu stat.

Daz eine daz ist ere,

daz ander frome,

daz dritte ni man do zu kome

daz man durch liebe noch leide

ere und frome ummer niht gescheide [7, с. 32].

Представления о чести носили специфический характер. Честь – не столько внутреннее сознание собственного достоинства, самосознание человека, который ощущает свои индивидуальные качества, отличающие его от других, сколько слава среди окружающих. Он видит себя глазами других, доблестью считается не особенностью, а одинаковостью, сходство с остальными. Рыцарь не свободен в выборе своего поведения; поэтому индивидуальность неизбежно выражается в установленных формах [4, с. 215–216].

Наряду с этими традиционными для средневекового общества чертами в рыцарской поэзии обнаруживается и нечто новое. Она дает новую основу достоинства человека. Впервые в европейской литературе анализ интимных переживаний выдвигается в центр поэтического творчества. Поэт сознает, что любовь внутренне его обогащает:

*Swer der minne ist undertan,
si lat in manige tugende sehen,
als ich die wisen hoere jehen,
si leret sünde lan* (Markgraf Otto, DDM, S. 944).

В систему нравственно-эстетических категорий рыцарства включается чувство, и если дама остается не индивидуализированным воплощением идеала женской красоты, то углубление в свой внутренний мир, любование собственными переживаниями, культивирование радостей и горестей любви заключают в себе известную переоценку нравственных ценностей, представляют собой шаг в развитии самосознания рыцаря. Скованный этикетом и ритуалом в своем общественном поведении, рыцарь вместе с тем был способен к внутреннему саморазвитию и получал возможность обнаружить свою личность в сфере духовной культуры, хотя и здесь его индивидуализации были положены определенные границы [4, с. 218–219].

Кроме типизации, можно отметить еще одну особенность сознания средневековых людей – символическое мышление.

Для Средневековья характерно мышление устойчивыми образами. Одним из способов выражения его является персонификация. *Minne*, *Welt*, *Tugend* предстают уже не только как абстрактные сущности [3, с. 88–89]. То, что для нас – метафора, представало сознанию средневекового человека в качестве символа, видимого образа сущностей. Символ в его средневековом понимании – не простая условность, но обладает глубоким смыслом: весь мир – символ мира потустороннего; поэтому любая вещь обладает двойным или множественным смыслом, наряду с практическим применением она имеет применение символическое [4, с. 301–302].

В заключение хотелось бы отметить, что миннезанг – это, прежде всего, искусство формы (*Formkunst*), а не описание собственных переживаний (*Erlebnislyrik*). Лирическое «Я» – это определенная роль автора. Темы песен (прославление дамы сердца, безнадежная любовь, конфликт между служением даме и Богу), постановка и решение проблем традиционны. Заслуга же автора заключается в том, чтобы найти для них новое выражение в музыке и тексте [7, с. 366].

В литературе находят отражение черты, характеризующие картину мира человека той или иной эпохи. Анализ языка произведений средневековой немецкой литературы позволяет «заглянуть» в сознание средневекового человека, понять его отличительные черты, воссоздать его представления и ценности.

Список литературы

1. Eggers, H. *Deutsche Sprachgeschichte* / H. Eggers. – Hamburg, 1965. – Bd. II. – 267 s.
2. Гуревич, А. Я. Проблемы средневековой народной культуры / А. Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1981. – 350 с.
3. Brinkmann, H. *Zu Wesen und Form mittelalterlichen Dichtung* / H. Brinkmann. – Tübingen: Niemeyer, 1979. – 204 s.

4. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 350 с.
5. Fischer, K. H. Zwischen Minne und Gott / K. H. Fischer. – Frankfurt a. M., 1985. – 340 s.
6. Die Ritteridee in der deutschen Literatur des Mittelalters. – Darmstadt : Wiss. Buchges, 1987. – 304 s.
7. Maurer, F. Dichtung und Sprache des Mittelalters / F. Maurer. – Bern ; München : Francke, 1971. – 468 s.

Список источников примеров

- Frühester deutscher Minnesang. – Berlin, 1969. – 93 s. (FdM)
- **Goedeke, K.** Deutsche Dichtung im Mittelalter / K. Goedeke. – Hannover, 1854. – 988 s. (DDM)
- Der Helden minne, triuwe und ere. Literaturgeschichte der mittelhochdeutschen Blütezeit. – Berlin, 1990. – 922 s. (LG)
- Des Minnesangs Frühling. – Leipzig, 1964. – 402 s. (MF)

РЕЦЕНЗИИ

Репников, А. В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX – начало XX веков) : монография / А. В. Репников. – М. : Готика, 2006. – 424 с.

В течение последнего десятилетия произошел мощный интеллектуальный прорыв в изучении феномена российского консерватизма. Идеологическая модель консерватизма, как отмечалось в одном из фундаментальных исследований, оказала существенное влияние на создание модернизированного (современного) общества, отражая достаточно реалистичный взгляд на человека и общество, отказ от веры в идеальное общественное устройство будущего и критику утопических учений, установку на противодействие революции и обоснование диктатуры для выхода из конституционных кризисов и восстановление легитимного режима [1]. Публикация работ переписки русских консерваторов Л. А. Тихомирова, К. Н. Леонтьева, предпринятая в 1990-х – начале 2000-х гг., отразила интерес интеллектуальной элиты к поискам оптимальной модели социально-экономического развития России.

Автор рецензируемой монографии – доктор исторических наук, сотрудник Центра по разработке программ документальных публикаций федеральных государственных архивов Российского государственного архива социально-политической истории А. В. Репников по праву относится к крупнейшим исследователям российского консерватизма. После издания своей первой монографии [2] он предпринял существенные усилия по изданию документального наследия теоретиков консервативной политической мысли, публикуя также свои работы в российских и зарубежных изданиях.

Формулируя замысел нового исследования, автор подвергает аргументированной критике устойчивые стереотипы в восприятии консерваторов как «реакционеров» и «мракобесов» (с. 4). В этой связи перед учеными возник ряд новых проблем, отражающих необходимость переосмысления содержания дефиниций, выражающих идеологию и практику общественно-политических направлений и течений [3].

Композиция книги отличается четкостью и соответствует авторскому замыслу – проанализировать проекты преобразования России, рассмотреть восприятие консерваторами сложнейших модернизационных процессов.

В первой главе рассмотрена историографическая ситуация, представлена характеристика источниковой базы монографии. Отмечу кропотливую работу А. В. Репникова по изучению сотен работ российских и зарубежных исследователей. Между тем характеристика источниковедческого потенциала могла быть более пространной (при этом публикаторская деятельность автора представляет собой достойный пример серьезной археографической работы).

Теоретическим основам консервативного мировоззрения посвящена вторая глава монографии. Автором отмечена ошибочность утверждений части научного сообщества, отделявшего консерваторов от идеи прогресса.

Вместе с тем нельзя не учитывать и то обстоятельство, что именно консерваторы стремились обратить внимание на противоречивое (негативное) последствие капитализации для экологии, физического и нравственного здоровья индивида.

Анализируя место самодержавия в историческом процессе, А. В. Репников отмечает, что сакрализация царской власти, в конечном итоге, обусловила отставание в оформлении политико-правовой доктрины, что не могло не повлиять на судьбу империи в начале XX в. (с. 92). Стремление к синтезу религиозных и правовых понятий, переносу их на социальную структуру российского общества обусловило то своеобразие в трактовке права, которое было выражено К. П. Победоносцевым. Для него закон являлся как правилом поведения, так и характером заповеди, освящавшимся религией. В этой связи принципиальное значение приобретает восприятие консерваторами парламентаризма (с. 101), понимаемого К. П. Победоносцевым «великой ложью нашего времени».

В четвертой главе рассмотрена достаточно сложная составляющая консервативной традиции – отношение к конфессиональному и национальному вопросам. Автор справедливо отмечает, что изучение отношения консерваторов к роли Русской Православной церкви, взаимоотношениям с другими концессиями и нациями должно быть основано на признании аксиоматического положения: «В России начала XX века только еще начинали складываться традиции **мирного** разрешения национальных, социальных и религиозных противоречий, обострившихся в ходе модернизации страны» (с. 211). Именно в этом ракурсе (лишенном эмоций) и следует рассматривать отношение консерваторов к еврейским погромам, «Делу Бейлиса».

Уязвимой стороной в деятельности теоретиков консерватизма являлась неэффективность наработок в сфере социальной политики. М. О. Меньшиков весьма пессимистично констатировал, что на смену обществу, основанному на традиции, идет общество, построенное на эгоизме, у которого нет будущего (с. 253).

Завершающие главы исследования посвящены изучению представлений консерваторов о месте Российской империи в мировом пространстве и судьбам лидеров этого направления после двух революций 1917 г.

Мое внимание привлекли отличающиеся логичностью и выверенностью выводы. В их основе – признание ценностных качеств консервативной доктрины: стремление к сохранению стабильности в обществе, признание необходимости строгой дисциплины и иерархии, поиск оптимального места страны в мировой цивилизации.

В целом, монография (в книге опубликованы дневники записей Л. А. Тихомирова) оставляет весьма благоприятное впечатление своей основательностью и аналитическим подходом. Отсутствие списка литературы и источников, именного указателя, отдельные недочеты в корректуре текста, убежден, связаны, очевидно, с ограниченным количеством печатных листов, выделенных издательством.

Исследование А. В. Репникова представляет большой интерес для историков, юристов, политологов, размышляющих и небезразличных к судьбе своей страны.

Список литературы

1. **Медушевский, А. Н.** Идеологии как явление мировой истории / А. Н. Медушевский // Модели общественного переустройства России. XX век / отв. ред. В. В. Шелохаев. – М., 2004. – С. 42.
2. **Репников, А. В.** Консервативная концепция российской государственности / А. В. Репников. – М., 1999.
3. **Общественная мысль России XVIII – начала XX века : энциклопедия.** – М., 2005.

АННОТАЦИИ

История

УДК 940.3(47+57)+930.1

**РЕФОРМЫ П. А. СТОЛЫПИНА: ПЕРЕКРЕСТКИ МНЕНИЙ
СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКОВ.** *Карнишин В. Ю.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 3–9.

В статье рассмотрены современные интерпретации преобразований, связанных с именем Председателя Совета министров П. А. Столыпина. Отмечены особенности подходов авторов к изучению программы реформ, путей ее реализации и итогам реализации внутривластного курса позднеимперской России.

УДК 930.1(470)

**«МЫ ВСЕ УНИЧТОЖЕНЫ, МЫ ФАКТИЧЕСКИ РАЗГРОМЛЕНЫ...»
(РУССКИЕ МОНАРХИСТЫ НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ
САМОДЕРЖАВИЯ).** *Репников А. В.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 10–19.

В статье рассматриваются взгляды и судьбы русских монархистов: М. О. Меньшикова, Ю. С. Карцова, Б. В. Никольского, Н. Н. Тихановича-Савицкого, Н. Е. Маркова, А. С. Вязигина и других накануне и после свержения самодержавия. Особое внимание уделено малоизвестным фактам из жизни А. И. Дубровина и Л. А. Тихомирова. Показывается отношение правых идеологов к политике Николая II и перспективам консервативной идеологии в России.

УДК 940.2(470.4)

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШИПОВ (1851–1920). *Шелохаев С. В.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 20–34.

В статье рассмотрены основные вехи биографии российского политического деятеля начала XX в., одного из основателей «Союза 17 октября» – партии отечественного либерализма. Особое внимание уделено мировоззренческим основам незаурядной личности политической элиты позднеимперской России.

УДК 947

**СТАНОВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА СОВЕТСКОЙ
СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.** *Володина Н. А.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 35–43.

В статье на основе архивных документов, материалов периодической печати и воспоминаний современников автор анализирует условия и причины создания советской системы политического контроля и ее основные структурные элементы, к важнейшим из которых относятся цензура, средства массовой информации (для изучаемого периода – в основном газеты и радио), институты образования и культуры, искусство, пропаганда и агитация.

УДК 329.14+333.5(47+57)(091)

ОТ РЕВОЛЮЦИИ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ: ПАРАДОКСЫ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ. Михайлов И. В. – Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 44–50.

Статья посвящена анализу интерпретаций проблемы перехода к гражданской войне. Рассмотрены различные аспекты политического процесса в революционной России на основе достаточно широкого круга источников. Отмечены противоречивые тенденции в ряде исследований последних лет.

Ф и л о с о ф и я

УДК 1(091)

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА РЕВОЛЮЦИИ (К 90-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В РОССИИ).

Кошарный В. П. – Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 51–63.

На основе широкого круга историко-философских источников в статье рассматриваются понятийно-теоретические основания религиозно-философской трактовки идеи революции в русской мысли начала XX в. Констатирован гуманистический пафос религиозной метафизики революции русских философов Серебряного века.

УДК 17

ТЕОНОМНАЯ ЭТИКА КАК АКТУАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОИСКА СМЫСЛА ЖИЗНИ. Пугачев О. С. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 64–76.

Данная статья посвящена проблеме предмета и статуса теономной этики. Автор пытается показать специфику и выявить отношение такого типа этики к вопросам о смысле и целях жизни. Другая важная задача статьи – эксплицировать синтетический характер теономной этики, способной стать мостом между научным и религиозным мировоззрением. Это вторая публикация из трехчастного цикла, подготовленного к печати.

УДК 1

**ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.** *Тугаров А. Б.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 77–85.

В статье раскрываются философско-методологические и теоретические основания прикладных исследований в современных социально-гуманитарных науках. Обоснован триангуляционный подход в социальных исследованиях, представляющий взаимодействие методов наблюдения, интервью и анализа документов. Проведено сравнение позитивистской методологии количественных исследований и феноменологической методологии качественных исследований.

УДК 13

**КОНЦЕПТ СОЗНАНИЯ В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ
КАРКАСЕ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА.** *Аредаков А. А.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 86–92.

Антропный принцип (АП) фиксирует связь между человеком и вселенной. Человек есть такая часть вселенной, без которой, как утверждает АП, возможность существования вселенной в том виде, в котором она нам известна, вряд ли была бы возможна. В рамках АП логически возможны два подхода. Во-первых, можно утверждать особенность устройства человека-наблюдателя, во-вторых, можно отправляться на поиски ответов на вопросы АП, исходя из утверждения особенности устройства вселенной. В статье рассматривается первый вариант.

Ф и л о л о г и я

УДК 801

**ИНТОНАЦИЯ – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ.** *Родионова О. С.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 93–103.

Одним из важнейших компонентов языка является интонация. Интонационный уровень речевого звучания имеет сложное строение и выполняет многообразные функции. Компоненты речевой интонации универсальны, но их предпочтительная значимость, способы акустического выражения и характер взаимосвязи со смыслом, синтаксическим строем и ритмической организацией высказывания варьируются от языка к языку.

УДК 801

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНА.** *Хижняк С. П.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 104–112.

В статье рассматривается проблема формирования семантики терминов в истории становления русской юридической терминологии. Исследована роль дефиниции и родовых отношений терминов в терминологической системе в формировании терминов с экстенциональным и интенциональным типами значений, а также многозначных номинативных единиц. Рассмотрены прагматические, идеологические и аксиологические факторы, участвующие в формировании семантики юридических терминов.

УДК 81.47

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ
«Я-КОНЦЕПТА» В ДИХОТОМИИ «ОБЛАДАНИЕ – БЫТИЕ»
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ).** *Нечаева Е. Ф.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 113–121.

Статья посвящена одному из самых глубоких и малоизученных концептов: «Я-концепту», отражению личностного начала в языке. Прослеживается четкая взаимосвязь между «Я-концептом» и дихотомией «обладание – бытие». Дается сопоставительный анализ некоторых аспектов отражения «Я-концепта» в дихотомии «обладание – бытие» во французском и русском языках в рамках лингвокультуроведческого подхода.

УДК 830

Ф. ШИЛЛЕР И А. А. ДЕЛЬВИГ. *Жаткин Д. Н.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 122–130.

В статье впервые выявлены и проанализированы традиции Ф. Шиллера в идилиях, антологических эпиграммах, анакреонтических одах, а также литературно-критических статьях А. А. Дельвига. Особую ценность для русского поэта имело привнесение Шиллером в литературное творчество сугубо национальных начал, обусловленных характерными романтическими приоритетами. Показана преемственность творчества русского поэта по отношению к наследию немецкого предшественника на уровне мотивов, образов, символики, художественных деталей и др.

УДК 803.0.3

**ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА СРЕДНЕВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НЕМЕЦКОЙ РЫЦАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕСЕН МИННЕЗАНГА).** *Джанполат-Васина Н. Н.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 2, с. 131–135.

В данной статье произведения малых поэтических форм средневековой немецкой литературы (песни миннезанга) анализируются с точки зрения отражения в них картины мира средневекового человека. Выявляются основные черты, свойственные сознанию средневекового человека и находящие выражение в языке произведений.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Аредаков Андрей Александрович – аспирант кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; старший аналитик информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Володина Наталья Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой философии и социологии Пензенской государственной архитектурно-строительной академии.

Джанполат-Васина Надежда Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской филологии Пензенского государственного университета.

Жаткин Дмитрий Николаевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского и иностранных языков Пензенской государственной технологической академии, академик Международной академии наук педагогического образования, член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

Карнишин Валерий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Пензенского государственного университета.

Кошарный Валерий Павлович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Пензенского государственного университета.

Михайлов Игорь Васильевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений.

Нечаева Евгения Феликсовна – старший преподаватель кафедры лингвистики Московского института экономики, менеджмента и права (г. Москва).

Пугачев Олег Сергеевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.

Репников Александр Витальевич – доктор исторических наук, ведущий специалист Центра по разработке и реализации межархивных программ документальных публикаций федеральных архивов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), доцент Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Родионова Ольга Сергеевна – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой немецкого и французского языков Саратовской государственной академии права.

Тугаров Александр Борисович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и социальной работы, декан факультета социологии и социальной работы Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского, гранд-доктор философии Европейской Академии информатизации.

Хижняк Сергей Петрович – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английского языка и межкультурной коммуникации Саратовской государственной академии права.

Шелохаев Станислав Валентинович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра по разработке и реализации документальных публикаций федеральных государственных архивов.

Вниманию авторов!

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах оригинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, философии, филологии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала.

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других журналах, редколлегией не рассматриваются.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использованием текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 97 или выше. Необходимо представить статью в электронном виде (дискета 3,5'', CD-диск) и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах, с указанием даты написания и личной подписью автора, заверенной в установленном порядке.

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна сопровождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кроме введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, векторные рисунки в формате Corel DRAW, с минимальной толщиной линии 0,75 pt). Рисунки должны сопровождаться подрисовочными надписями. Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов Symbol).

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных скобках. В списке указывается:

- для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год издания, том, количество страниц;
- для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы;
- для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, название издания, время и место проведение конференции, город, издательство, год, страницы.

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках которой выполнена работа, или наименование фонда поддержки.

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое звание, адрес, телефон, e-mail.

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается.

Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором.

Уважаемые читатели!

Для гарантированного и своевременного получения журнала «**Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки**» рекомендуем вам оформить подписку.

Журнал выходит 4 раза в год по тематике:

- **история**
- **философия**
- **филология**
- **педагогика**

Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп.

Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33; E-mail: VolgaVuz@mail.ru

Подписку на второе полугодие 2007 г. можно также оформить по каталогу агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия высших учебных заведений». Подписной индекс – 36949.

ЗАЯВКА

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 2007 г.

№ 1 – _____ шт., № 2 – _____ шт., № 3 – _____ шт., № 4 – _____ шт.

Наименование организации (полное) _____

ИНН _____ КПП _____

Почтовый индекс _____

Республика, край, область _____

Город (населенный пункт) _____

Улица _____ Дом _____

Корпус _____ Офис _____

ФИО ответственного _____

Должность _____

Тел. _____ Факс _____ E-mail _____

Руководитель предприятия _____

(подпись)

(ФИО)

Дата « ____ » _____ 2007 г.